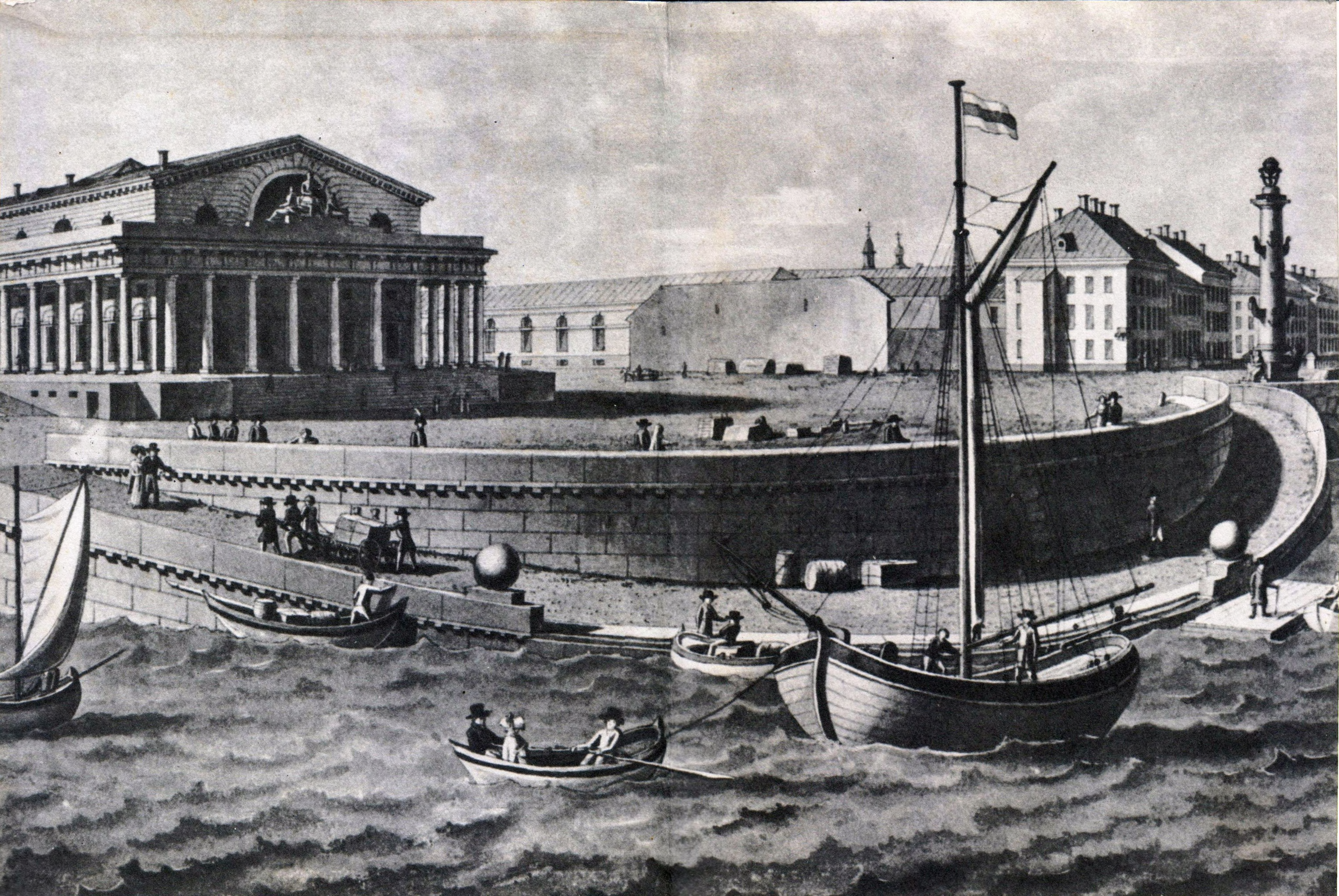
М. Басина

НА БРЕГАХ НЕВЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

НА БРЕГАХ НЕВЫ | М. Басина







Е. Гейтманъ sc.

ПО ДОРОГИМ МЕСТАМ

М. Басина

НА БРЕГАХ НЕВЫ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Ленинград
„Детская литература“
1976

8Р1 (092)
Б 27

Издание второе

«На брегах Невы» — рассказ о жизни Пушкина в Петербурге после окончания Лицея и до ссылки на юг (1817—1820 гг.).

Подружившись с членами Тайного общества — будущими декабристами, — недавний лицеист стал политическим писателем.

Пушкина видели повсюду: на сходках молодых вольнодумцев, в театре, в светских и литературных салонах, на балах. Он жадно впитывал новые впечатления, завязывал многочисленные знакомства и писал. Его стихи против правительства разошлись по всей России. Такого ему не простили.

Об этом и о многом другом рассказывается в книге «На брегах Невы». В ней описывается Петербург десятых годов XIX века и пушкинские места Ленинграда, связанные с молодостью поэта.

Книга «На брегах Невы» — вторая часть трилогии М. Басиной о Пушкине. Первая и третья части — «Город поэта» и «Там, где шумят михайловские рощи».

Оформление Г. Губанова

Фотографии Г. Савина

Б $\frac{70803-116}{М 101 (03)-76}$ 428—76

...И НА БРЕГАХ НЕВЫ
МЕНЯ ДРУЗЬЯ СЕГОДНЯ ИМЕНУЮТ...

А. С. Пушкин
«19 октября». 1825.



В петербургском захолустье

В Ленинграде на правом берегу реки Фонтанки, в самом конце ее, близ Калинкина моста, есть довольно унылого вида дом под номером 185. Он ничем не привлекает внимания прохожих, и если бы не мемориальная доска на фасадной его стене, затерялся бы среди себе подобных. На доске написано: «В этом доме по окончании Лицея жил А. С. Пушкин с 1817 г. по 1820 г.».

В этом доме жил Пушкин...

Правда, в те далекие годы дом вице-адмирала Клокачева, где снимали квартиру родители Пушкина, имел иной вид. В унылую длинную четырехэтажную громадину его превратили позднейшие владельцы. А тогда был он двухэтажным, на высоком полуподвале, в десять окон по фасаду. Считался большим и вместительным в захолустной, окраинной части Петербурга — Коломне.

Коломна — пристанище мелких чиновников, ремесленников, «ундеров» в отставке, актеров, что победнее, вдов, живущих на пенсию, — простиралась за Крюковым каналом, между реками Фонтанкой и Мойкой. Сюда, на задворки столицы, не скоро попадали из центра города. Извозчик с Невского от Аничкова моста брал с Пушкина за проезд до дома Клокачева целых восемьдесят копеек. Деньги весьма немалые, если принять во внимание, что коломенские обитатели забирали на день в мелочной лавочке на пять копеек кофию и на четыре сахару.

Свое название Коломна получила от слова «колонна». При Петре I, когда Петербург еще строился среди лесов и болот, для осушения почвы прорубали в лесу просеки. Архитектор Доменико

Трезини называл их «колонны». В языке петербургских жителей «колонны» превратились в «коломны». От них и пошла Коломна. Свидетельством топкости коломенской почвы служило еще при Пушкине глубокое болото в конце Торговой улицы. Чиновники — любители охоты — отправлялись туда в праздничные дни пострелять куликов.

Странное впечатление производила эта окраина.

Столица здесь заявляла свои права по-петербургски прямыми улицами, гранитной набережной Фонтанки, доходившей уже до Калинкина моста. Самим этим мостом с цепями и башнями. Церквами изрядной архитектуры. Двух- и трехэтажными каменными домами.

Но не они здесь главенствовали. Они терялись среди дощатых заборов, тянувшихся вдоль плохо мощенных улиц, полосатых будок, деревянных домишек с садами.



Дом № 185 по набережной Фонтанки (бывший Клокачева), где в 1817—1820 годах жил Пушкин.
Фотография.



Мемориальная доска на доме № 185 по набережной Фонтанки.

И дом Клокачева окружали «убогие лачужки», принадлежавшие «ундеру» Шумареву, трубачу Тячкину, кузнецу Димшукову. Они, как родные братья, походили на тот домик в Коломне, который Пушкин позднее описал в своей стихотворной повести:

...Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

Не одна только внешность отличала Коломну от центральных частей города. Жизнь здесь текла не по-столичному тихо. Пешеходов встречалось немного, стук карет бывал в редкость. А если уж



Площадь у Калинкина моста.
Литография Ф. Перро. Первая половина XIX в.

останавливалась возле дома карета, во всех окнах показывались любопытные женские лица, даже в зимнюю пору набегали мальчишки. И можно было наблюдать, как, поджидая своего барина, скрывшегося в подъезде, кучер дремлет на козлах, а гайдук — выездной лакей, молодой и рослый детина, играет с мальчишками в снежки...

Вставали в Коломне чуть свет. Ложились тогда, когда на Морских и на Невском только выезжали с визитами. Столичные новости сюда доносились, как эхо. Здесь все больше толковали о способах приготовления кофию, сбережения шуб от моли, дороговизне говядины и капусты, о разных житейских происшествиях.

Встретятся, бывало, идучи по воду к Фонтанке, дворовая девушка из господского дома с соседкой-молочницей, и пойдет разговор:

— Здравствуй, Ивановна!

— Здорово, кормилица!

— Что тебя не видать, куда ты запропастилась?

— Ах, дитятко! Не знаешь ты моего невзгодья. Прохворала все, окаянная! А к тому же, господь нас посетил. Ведь у меня две коровушки пали. Эдакой причины со мной никогда не бывало. И сокровище-то мое... Ох, девушка! В Покров-то вечером подоила я коровушек и, благословясь, пошла кое-что присмотреть по домашности да приготовить своему поужинать. Ну, удосужилась я, сижу, матушка моя, у окна и вяжу чулок. Глядь, ан идет мой сокол, переваливается. Я тотчас на плечи шугай и выбежала отворить ворота. А он вдруг хлобысть меня по затылку. Ах, пес проклятый...

— Да, плохое житье твое, Ивановна, — сочувствует девушка. — И мое, чай, не лучше. Загоняли: «Машка, завари кофию! Машка, подай барину сюртук! Машка, беги по воду!» Хуже нет у бедных гос-



Коломна.
Гравюра на дереве В. Бернардского. Первая половина XIX в.

под-то жить. То ли дело у богатых. У богатых людей полон дом. А тут все Машка да Машка...

Собеседницы стоят, жалуются, вздыхают, покачивают пустыми ведрами на коромысле. Потом, вдруг спохватившись, что у одной



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

в печке щи перепрели, а у другой, верно, барыня из себя выходит, дожидаючись воды, торопливо спускаются к реке.

Коломна, по меткому выражению Гоголя, была «не столица и не провинция». Своеобразная смесь того и другого.

Безрадостное новоселье

Родители Пушкина обосновались в Петербурге на постоянное жительство весною 1814 года. Сперва приехали из Москвы Надежда Осиповна со своей матерью Марией Алексеевной и двумя детьми — Ольгой и Львом. Потом прибыл и Сергей Львович. Он некоторое время служил в Варшаве, вышел в отставку и вслед за женою приехал в Петербург.

Воспитаннику Лицея Александру Пушкину петербургское новоселье родителей рисовалось лишь в воображении. По строгим лицейским правилам из Царского Села лицеистов не выпускали. Пушкин слушал с интересом рассказы сестры, которая вместе с матерью навещала его, и мечтал о Петербурге.

Петербург... При этом слове невольно екало сердце. Он не мог забыть те летние дни, что провел в Петербурге перед поступлением в Лицей. Непохожесть живописной, своевольно разбросанной Москвы и этого строго расчерченного города его ошеломила. Там, в Москве, он никогда не казался себе таким смешным и маленьким. А здесь он растерялся: прямизна широких улиц, шпили, рвущиеся ввысь, громады дворцов, каналы, сумрачные просторы Невы... Выходя из дому, он хватал за руку дядю Василия Львовича, который привез его сюда.

Но растерянность быстро прошла. Ее сменило восхищение, любопытство.

Дядя водил его повсюду, таскал к приятелям, где читал свои стихи, и даже катал на ялике по Неве, прихватив для веселости их нового знакомца — тринадцатилетнего внука адмирала Пущина — Ивана. Тот тоже поступал в Царскосельский лицей.

Иван Пущин жил на Мойке, где квартировали и Александр с дядей. И скоро с дядей и без дяди мальчики уже ходили в Летний сад, любовались кораблями на Неве. Никогда еще Александру не было так вольготно и весело.

С той поры прошло три года.

И вот теперь в Петербурге поселились его родители. Он старался представить себе их новое жилище. Верно, там, как и когда-то в Москве, великое множество книг. Есть и «звучное фортепьяно», на котором играет Ольга, и моськи для забавы — Ольга любит собак. Он живо представлял, как в вечерние часы сестра сидит у окна «задумчивой Светланой над шумною Невой».

И ему хотелось в Петербург. Он мечтал о том времени, когда годы ученья останутся позади и он вырвется на волю из лицейского «монастыря».



О. С. Пушкина.
Акварель неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

Он писал сестре:

Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
Спеша на новоселье,
Оставлю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клобук с веригой
И прилечу расстригой
В объятия твои.



С. Л. Пушкин.
Портрет работы неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

И это время пришло. Девятого июня 1817 года Александру Пушкину выдали свидетельство об окончании Лицея, а через два дня наемный извозчик подвозил его к дому Клокачева на Фонтанке.

Новоселье оказалось совсем иным, чем рисовалось в мечтах.

Литератор Катенин, который летом 1817 года познакомился с Пушкиным, рассказывал: «Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? Но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений».

У Пушкина бывали лишь близкие друзья. Почему? Для этого существовали основательные причины.

Сергей Львович и Надежда Осиповна поселились в Коломне из соображений экономии. Конечно, они предпочли бы жить где-нибудь на Морской или на Фурштадтской, но тамошние апартаменты им были не по карману. Квартиры же в Коломне стоили сравнительно дешево. Здесь можно было не тесниться. Квартира в доме Клокачева состояла из семи комнат. Три — окнами на улицу, набережную Фонтанки.

Пушкины жили в верхнем, втором этаже — «над Корфами». По воле случая два недавних лицеиста — Александр Пушкин и Модест Корф — оказались в Петербурге вновь под одною кровлею. Родители Корфа снимали квартиру в том же доме.

Пушкин и Корф никогда не были близки. Благонравный Моденька стремился сделать карьеру. И впоследствии сделал: стал крупным чиновником, получил графский титул. Вспоминая свою юность, он не без злорадства описывал жизнь семьи Пушкиных в доме Клокачева: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана».

Домашняя жизнь родителей Пушкина действительно отличалась безалаберностью. Объяснялось это особенностями характера как Сергея Львовича, так и Надежды Осиповны.

Не имея расположения ни к какого рода серьезной деятельности, Сергей Львович предпочитал всему визиты, развлечения, занимательную беседу. Был он начитан, образован. Любил театр, литературу. Украшал поэтическими безделками дамские альбомы. Его стихией были салоны, гостиные. Там он чувствовал себя как рыба в воде.

О его беспечности ходили легенды. Когда-то в молодости, при Павле I, Сергей Львович служил в гвардии. У него была привычка, сидя у камина, помешивать горящие угли. И он не нашел ничего лучшего, как использовать для этого свою офицерскую трость. От чего та и обгорела. Заметив, что он пришел на учение с обгорелой тростью, командир сказал ему: «Уж вам бы, господин поручик, лучше явиться с кочергой на учение».

Некто Б., сменивший Сергея Львовича на посту начальника комиссариатской комиссии в Варшаве, рассказывал, что, придя принять дела, застал своего предшественника не за счетами и бумагами, а за чтением французского романа.

К своим обязанностям помещика, как и ко всему, что доставляло беспокойство и хлопоты, Сергей Львович питал непреодолимое



Н. О. Пушкина.
Миниатюра К. де-Местра. 10-е годы XIX в.

отвращение. Управлять имениями поручил он приказчикам, и те исправно обкрадывали и его, и крестьян.

Домом он не занимался, передоверив все жене.

Надежда Осиповна была плохая хозяйка. Да и где было ей — единственной балованной дочери — стать хорошей хозяйкой?

Она выросла при обстоятельствах не совсем обыкновенных. Отец ее — Осип Абрамович Ганнибал, третий сын знаменитого «арапа Петра Великого», Абрама Петровича Ганнибала — был человеком до крайности легкомысленным. Едва успев жениться, он оставил жену свою Марию Алексеевну и маленькую дочь. Надежда Осиповна росла при матери.



А. С. Пушкин.
Автопортрет. 1820 г.

У безжалостно покинутой Марии Алексеевны только и свету в окошке было что Наденька. Безмерно любя дочь, она растила ее белоручкой-барышней: французский язык, фортепьяно, манеры... Смуглая красавица, наделенная природным умом, Надежда Осиповна быстро превзошла все эти премудрости, но, оберегаемая матерью

от малейших житейских тягот, была начисто лишена домовитости, расчетливости. Выйдя замуж, она не изменилась. Она не меньше, чем муж, любила светские развлечения. Обязанности хозяйки ей докучали. Неуравновешенная и вспыльчивая, она вносила эти качества и в управление домом. То с полным равнодушием взирала на всяческие беспорядки, то строго взыскивала за каждый пустяк. Как и все Ганнибалы, она была скора на расправу и тяжела на руку.

Слугам и детям (исключая младшего — Левушку: он был любимцем) жилось в доме несладко. Особенно потому, что, ко всему прочему, Сергей Львович был скуп. Из-за разбитого стакана разыгрывалась трагедия. Сергей Львович мог целый час бегать по комнате и, мешая французские слова с русскими, кричать, что они бедны, что доходы от Болдина мизерные, что из Михайловского (это был камень в огород тещи — Марии Алексеевны) присылают черт знает что: гуси и куры тощи, масло горькое, яйца как горох.

— В этом доме заговор, — объявлял Сергей Львович, — меня хотят разорить. Ты видишь, мой друг, — он обращался к Александру как к свежему человеку, — против меня заговор. Не удивляйся, если в один прекрасный день твой отец пойдет по миру с сумой и посохом...

— Ну, что вы, mon père, — пытался возражать Александр, — стакан стоит десять копеек.

— Ошибаешься — пятнадцать.

Ольга жаловалась брату: каждый раз, когда ей надо сшить новое платье, чтобы не краснеть перед людьми, не выглядеть чучелом, она ломает голову, какую брошку продать, — отец денег не дает. Даже свечку в свою комнату она покупает из собственных сбережений.

Александр вскоре сам почувствовал, до чего доходит скупость отца. Когда ему понадобились бальные башмаки (ему хотелось модные, с пряжками), отец предложил свои, сохранившиеся еще с павловских времен.

А его комната со скудной обстановкой? Пушкин называл ее в стихах «мой угол тесный и простой». Он мог бы прибавить еще и «холодный». Как-то раз к нему зашел Кюхельбекер и не застал. Пушкин узнал об этом, найдя на столе стихи, которые Кюхля сочинил, сидя в его комнате. Стихи назывались: «К Пушкину (из его нетопленой комнаты)».

К тебе зашел согреть я душу...
А тело между тем сидит,
Сидит и мерзнет на досуге:
Там ветер за дверьми свистит,
Там пляшет снег в холодной вьюге;

Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не поалеет
На голубом моем лице?
Нет! над бумагой костенеет
Стихотворящая рука...
Итак, прощайте вы, пенаты
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка,
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, избраннику неба,
Не нужно дров, ни камелька,
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащом не покровенный,
И с бедной музой бы замерз...

Ну разве мог он приглашать к себе малознакомых людей? Его неуютная комната, их неустроенная квартира, вечные стычки с отцом... Он стыдился всего этого.

С детских лет его больно ранило равнодушие родителей. И видно, годы разлуки — те, что провел он в Лицее, — не пробудили в них нежности. А ему так хотелось душевного тепла. «Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался...»

„Там некогда гулял и я“

Ольга восхищалась Петербургом.

Город необычайно красив. Поистине — Северная Пальмира.

— Ты пойди на Невский, — советовала она брату. — Нет, поезжай на набережную, на Адмиралтейский променад... Разве это Петербург? — Она презрительно указывала в сторону окна, из которого виднелась их убогая Коломна. — Петербург там...

Восторги сестры были так красноречивы и заразительны, что Пушкин, смеясь, называл ее Иоанном Златоустом и обещал незамедлительно обегать весь город. Ему и самому не терпелось поскорей увидеть все. Его тянуло на улицы, к людям. Каждый день поутру он убегал из дому.

С Петербургом знакомился заново. Те детские впечатления, которые сохранились в его памяти, были не в счет. Теперь он новыми

глазами смотрел вокруг. За несколько лет, что провел он в Лицее, Петербург вырос и ввысь и вширь, похорошел. То там, то здесь, вытесняя старые деревянные домишки, поднимались новые каменные дома. В два, три, а то и в четыре этажа. Бородатые мужики, пропитанные запахами деревни, заполнили город. Они рыли землю, тесали камень, укладывали кирпичи. Каменщики пришли из Вологодской

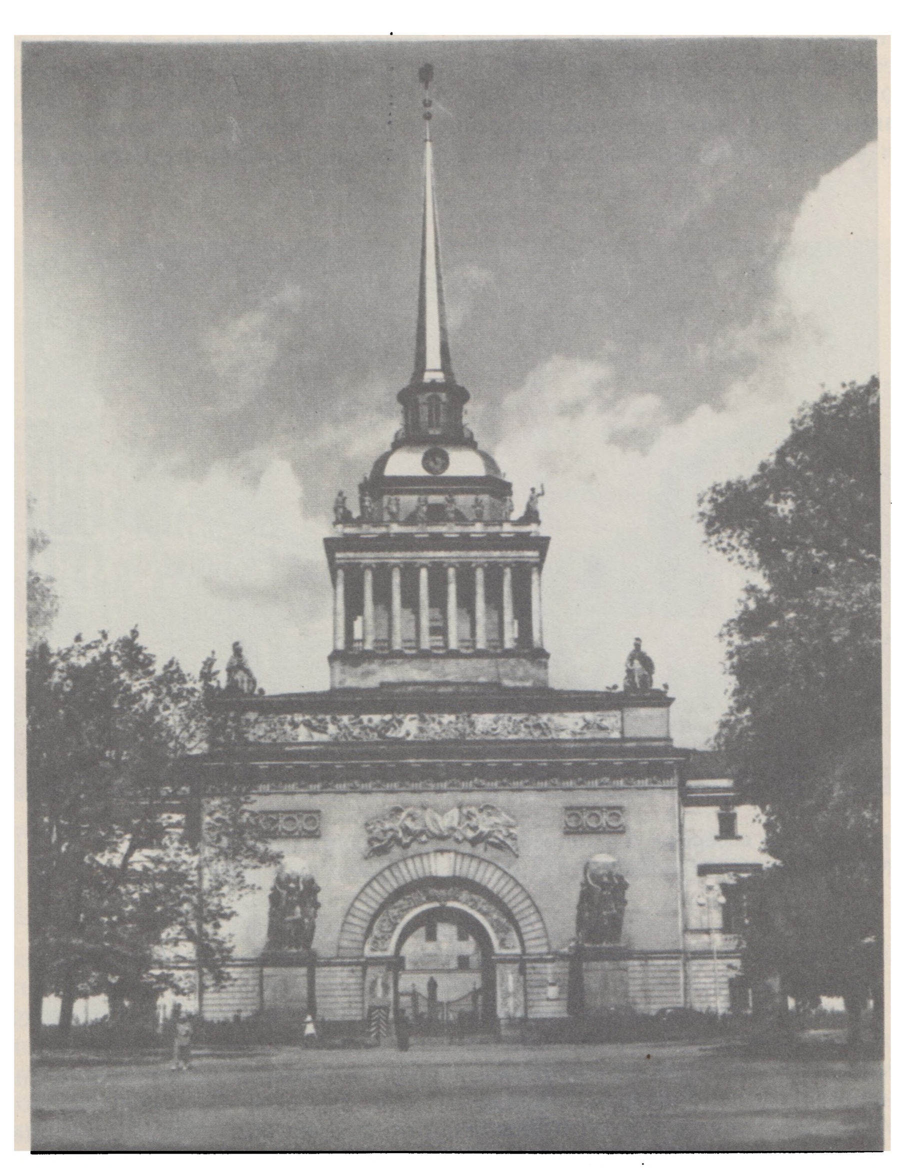


Строительство набережной в Петербурге.
Гравюра Б. Патерсена. Начало XIX в.

и Ярославской губерний, плотники — из Костромской, землекопы — из Олонецкой.

После победного завершения войны с Наполеоном столица самой могущественной в Европе страны бурно строилась. Во вновь образованный Комитет строения и гидравлических работ вошли выдающиеся зодчие: Карл Иванович Росси, Василий Петрович Стасов. Тот самый Стасов, который так искусно приспособил под Лицей один из флигелей Царскосельского дворца.

Комитет строения рассматривал проекты всех построек, возводимых в Петербурге — от частных «обывательских» домов до



Башня Адмиралтейства.
Фотография.

общественных зданий. Все должно было быть на самом высоком уровне. Равняться было по чему — Зимний дворец, Биржа, Казанский собор, Адмиралтейство...

Когда Пушкин до Лицея жил в Петербурге, перестройка грандиозного здания Адмиралтейства была в полном разгаре. Теперь дело уже подходило к концу, и великолепный замысел гениального



Адмиралтейский бульвар.
Гравюра И. Теребенева. 10-е годы XIX в.

Захарова восхищал и удивлял. На том месте, где недавно стояло длинное, обветшалое кирпичное строение, окруженное подъемными мостами, грязными рвами, заваленными бревнами и досками, выросло одно из красивейших зданий мира. Гигантской буквой «П», открытой к Неве, протянулись его величавые корпуса, а прямо против Невского проспекта поднялась его башня, увенчанная узким позолоченным шпилем, богато украшенная скульптурой и лепкой. Лучшие русские скульпторы вылепили фигуры могучих морских нимф, поддерживающих земную и небесную сферы, аллегорические барельефы: «Заведение флота в России», «Фемида, награждающая за военные и морские подвиги», «Слава, венчающая военные подвиги».



Дворцовая набережная. Зимний дворец и Эрмитаж.
Фотография.

Все здесь говорило о морской славе России, и все было небезразлично Пушкину.

Ведь в летописи русской морской славы значились и близкие ему имена.

«Наваринский Ганнибал» — Иван Ганнибал. Он столько слышал о нем от бабушки Марии Алексеевны. Родной брат его деда — Иван Абрамович Ганнибал — увековечил свое имя морскими подвигами. Он покорил неприступную турецкую крепость Наварин, что в Ионическом море, основал город Херсон, и, командуя артиллерией русской эскадры, сжег в Чесменской бухте весь турецкий флот.

Возле Адмиралтейства было лучшее петербургское гулянье. Когда начали перестраивать огромное здание, грязные каналы вокруг него засыпали, земляные валы, сохранившиеся еще с петровских времен, срыли и на месте их устроили обсаженный липами бульвар — Адмиралтейский променад. Липы хорошо принялись и скоро уже защищали гуляющих от солнца.

Широкая панорама города открывалась с Адмиралтейского бульвара. Отсюда видно было все, чем гордился Петербург: Неву, Зимний дворец, великолепные дома Дворцовой площади, образующей полукружье, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конно-

гвардейский манеж, Сенат, памятник Петру I и снова Неву и ее набережные...

Пушкин побывал и на другом бульваре, что тянулся по насыпи вдоль Невского проспекта от Мойки до Фонтанки. Бульвар был высокий и тоже с липами. С него можно было любоваться обеими сторонами главной улицы столицы, не рискуя попасть под колеса экипажей. А любоваться было чем. На каждом шагу возвышались творения великих зодчих, а зелень лип и вода трех узких, пересекающих Невский рек придавали ему неповторимую прелесть.

Почти у каждого здания была удивительная история.

Великолепный дворец на углу Невского и Мойки напоминал о судьбе рода Строгановых. Дворец был старинный. Его строил еще в XVIII веке для богатейшего елизаветинского вельможи Сергея Строганова зодчий Варфоломей Растрелли. Потом дворцом владел сын Строганова — человек известный в Петербурге, президент Академии художеств — Александр Сергеевич. Затем его сын — Павел Александрович, герой 1812 года.

Когда Пушкин кончал Лицей, Павел Строганов умер. Его хоронили с воинскими почестями. И теперь, проходя мимо его жилища, Пушкин вспомнил о нем. Бывает же такое: во время Французской



Конногвардейский манеж.
Фотография.

Невский проспект,
угол набережной Мойки.
Дворец Строгановых.
Фотография.



революции парижские якобинцы знали молодого графа Строганова под именем гражданина Очер. Одно из строгановских владений на Урале называлось Очер. А попал юный граф в Париж со своим воспитателем-французом, вольнодумцем и философом Жильбером Роммом. Тот и познакомил его с якобинцами. Прошло несколько лет. Отбушевала революция. Уже грандиозная наполеоновская эпопея, потрясшая Европу, подходила к концу. В 1814 году при Кроане во Франции русские войска сражались с французскими. Русскими командовал генерал Павел Строганов. Тут же сражался его единственный сын. Победа русских была уже близка, когда неприятельское ядро сразило сына генерала. И отец не выдержал. Он был так потрясен, что, не доведя до конца победоносного сражения, передал командование другому. И тому, другому, досталась слава победителя.

О страх! о горькое мгновенье!
О Строганов, когда твой сын
Упал, сражен, и ты, один,



Забыл ты славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, ободренный тобой...

Пушкина поразила и тронула столь необычайная судьба.

Казанский собор, что открывался с бульвара за дворцом Строгановых, тоже напоминал о недавней войне.

Когда Пушкин с дядей приехал в Петербург, зодчий Андрей Воронихин только что возвел это чудо. И тут грянула война. Новый Казанский собор стал хранилищем русской славы. Сюда свозили знамена, захваченные у неприятеля, ключи отвоеванных иноземных городов.

Летом 1813 года здесь похоронили Кутузова. Лицеисты читали тогда в «Северной почте» описание похорон полководца: «Все дороги и улицы усыпаны были зеленью, а по иным местам и цветами».

Рассказывали, что при въезде в город, у Нарвской заставы, народ выпряг лошадей и сам вез траурную колесницу до Казанского собора, где под сенью знамен и положили Кутузова.



Казанский собор.
Фотография.

Перед гробницею святой
Стою с поникшей головой...
Все спит кругом: одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.



Гробница Кутузова в Казанском соборе.
Фотография.



Думская башня на Невском проспекте, построенная для зеркального телеграфа.
Фотография.



Пушкин всегда испытывал здесь благоговейное чувство.

Но было на Невском и такое, что глядело уже не в прошлое, а в будущее. За Казанским собором поднималась квадратная каменная башня. Возвели ее для зеркального телеграфа, который связывал Зимний дворец с Царским Селом. Здесь чувствовался «железный» девятнадцатый век. Он чувствовался и в Гостином дворе, где шла бойкая торговля, и на оживленной Садовой улице, пересекающей Невский.

С Садовой улицы на Невский выходило, закругляясь, здание Публичной библиотеки. Она тоже была петербургской достопримечательностью и по красоте своего строения, и по книжным богатствам, хранившимся в ней. Ее торжественно открыли в 1814 году.

Пушкин знал, что в Публичной библиотеке служат два поэта — Иван Андреевич Крылов и Николай Иванович Гнедич. Они и жили здесь же на казенных квартирах и, проходя мимо, Пушкин видел, как знаменитый баснописец, сидя у открытого окна, глядит с высоты своего второго этажа на Гостиный двор и Садовую улицу, а приметив знакомых, окликает их и беседует с ними.

Огромный участок Невского от Садовой улицы до Фонтанки



Публичная библиотека.
Фотография.

занимала усадьба Аничкова дворца — его обширный сад с прудами и статуями. Аничков дворец сменил много владельцев. Теперь им владел второй брат царя — великий князь Николай Павлович.

Возле Аничкова дворца кончалась самая красивая и самая оживленная часть Невского проспекта. Здесь кончался и высокий бульвар, который, вместе с Адмиралтейским променадом, был излюбленным местом утренних прогулок светской публики. Сюда Пушкин вскоре пошлет гулять своего Онегина.

Покаместь в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе...

Побывал Пушкин и в Летнем саду. Его знакомец по Царскому Селу, офицер лейб-гвардии гусарского полка Олсуфьев, записал в своем дневнике: «Ходил с Пушкиным молодым стихотворцем в Летнем саду».

С тех пор как он мальчиком бегал с Пущиным по аллеям Летнего сада, здесь мало что изменилось. Так же важно шумели столетние липы, помнившие еще Петра I. Так же холодно белели мрамор-

ные статуи в темной зелени аллей. И знаменитая решетка, сквозь которую виднелась Нева, была так же хороша.

А на Неве за это время произошли перемены. Пушкин впервые увидел «пироскафы» — пароходы. Они появились совсем недавно. Вид их был забавен. На палубе дымила труба, и по бокам вертелись огромные колеса. Они казались порождением чьей-то странной фантазии, эти представители будущего, среди привычных лодок, неизменных парусников с их благородными очертаниями. «Железный» девятнадцатый век и здесь заявлял свои права.

С утра Летним садом владели гувернеры и гувернантки со своими резвыми воспитанниками. Слышались французская и английская речь, смех детей, поучения и выговоры наставников.

Затем Летний сад заполняла праздно гуляющая публика. По дорожкам, усыпанным песком, мимо мраморных статуй со скучающим видом фланировали столичные франты, наводя на дам свой бесцеремонный лорнет. Они были коротко острижены по последней английской моде, носили искусно повязанные галстуки, узкие панталоны и длиннополые сюртуки. Манеру держаться усвоили тоже английскую: сдержанную, холодную, презрительно-вежливую. Контраст им со-



Невский проспект у Аничкова дворца.
Гравюра И. Иванова. 10-е годы XIX в.



Летний сад.
Фотография.

ставляли гвардейские офицеры. Эти стояли и сидели в самых картинных позах, предоставляя гуляющим любоваться нарядными мундирами.

Прогуливались светские красавицы, гуляли важные барыни в сопровождении лакеев, которые, следуя на почтительном расстоянии, несли теплую шаль или любимицу барыни — комнатную собачку. Ей тоже необходимо было дышать свежим воздухом.

В Летнем саду Пушкин видел Крылова, Гнедича, Жуковского и печально знаменитого графа Хвостова. Графа сопровождали два гайдука в синих с золотым галуном кафтанах. Карманы Хвостова и его гайдуков были сильно оттопырены. Граф в огромных количествах сочинял редкие по нелепости стихи и, выходя на прогулку, брал их с собой. Он повсюду искал слушателей. В Летнем саду это знали и тотчас же разбегались, завидев его. Известный шутник баснописец Измайлов, имея в виду Хвостова, поместил в своем журнале такое объявление: «Потребен для отъезда в деревню с одним из плодовитейших здешних стихотворцев слушатель лимфатического темперамента, терпеливого нрава и самого крепкого геркулесовского сложения». Люди слабого сложения стихов Хвостова не выдерживали.

В праздничные дни в Летнем саду царило особое оживление, играла музыка.

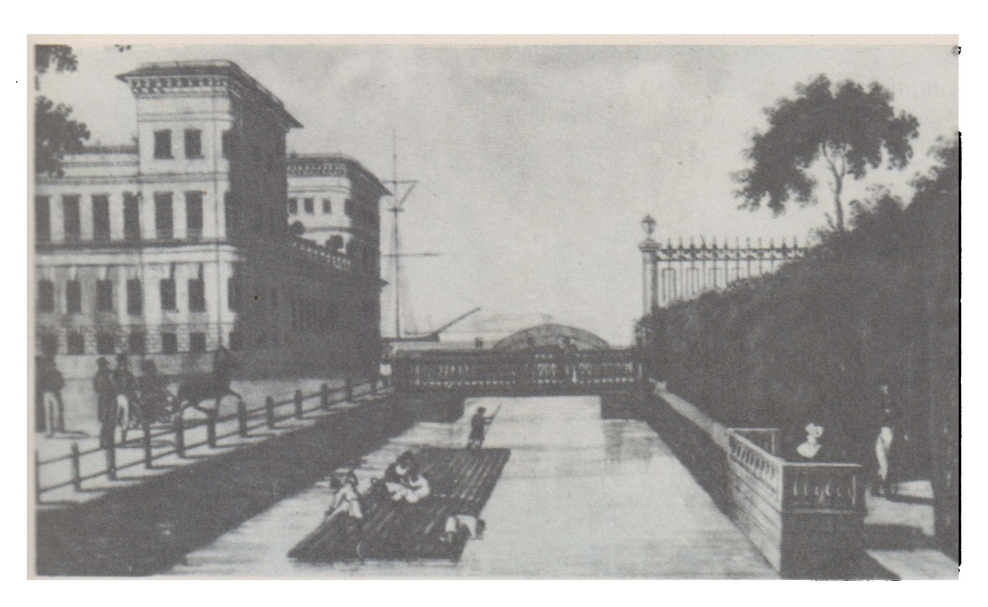
Звуки роговой музыки доносились и с Невы. Любимым развлечением жителей столицы было катанье на лодках с поющими гребцами и музыкантами, играющими на рожках. Гребцы были одеты как театральные герои — в голландские куртки, белоснежные рубашки и шляпы с перьями.



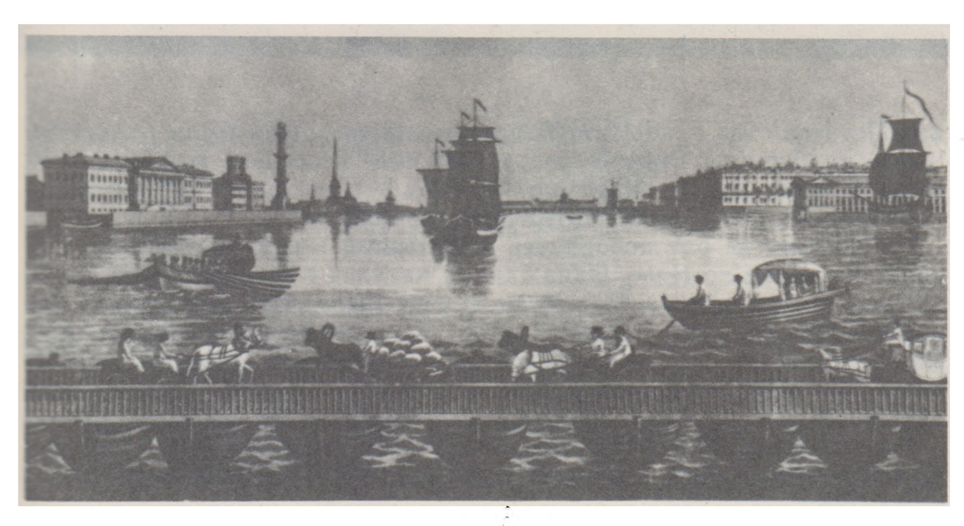
Гуляющие и нищий.
Рисунок И. Бугаевского. 10-е годы XIX в.

Богачи и вельможи держали собственные лодки, собственных гребцов и музыкантов. Те, кто победнее, лодки нанимали. На петербургских реках и каналах лодок было не меньше, чем экипажей на улицах.

Лишь два моста соединяли левый берег Невы с правым. Один против Исаакиевского собора — на Васильевский остров, другой про-



Летний сад и Лебяжья канавка.
Акварель неизвестного художника. 10-е годы XIX в.



Катанье на лодках по Неве. На первом плане Исаакиевский плашкоутный мост.
Гравюра по рисунку М. Дамоли-Демортре. Начало XIX в.



тив Летнего сада — на Петербургскую сторону. Оба были плашкоутные — на баржах. Весной, когда шел лед, и осенью, при подъемах воды в Неве, мосты разводили на пять — семь дней. Тут выручали перевозчики. Да и все департаменты держали лодки.

Пушкину не раз доводилось испытывать это удовольствие — катанье на лодке по Неве. Однажды он катался с отцом и знакомыми. Погода стояла прекрасная. Вода в реке была так прозрачна, что просматривалось дно. Пушкин вынул из кармана несколько золотых монет и одну за другой бросил в воду, любуясь их падением и блеском. Нетрудно представить, что испытывал при этом Сергей Львович. Возможно, что весь спектакль был затеян для него.

Нева, белые петербургские ночи, плеск весел и музыка, доносящаяся с реки... Все это можно найти в первой главе «Онегина»:

Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;



Белая ночь на Неве.
Фотография.

Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке;
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая.

В июне 1817 года, как раз в то время, когда Пушкин приехал в Петербург, журнал «Сын отечества» напечатал «Письмо из Рима». Письмо было от молодого русского художника Ореста Кипренского. Рассказывая об Италии, о своем пребывании в Риме и приезде в Милан, Кипренский внезапно прерывал повествование таким отступлением:

«Извините, ваше превосходительство, что останавливаю на один день повествование. Милан не прогневается, подождет, покуда я съезжу в Петербург повидаться с почтенными соотечественниками моими». И дальше молодой художник совершил воображаемое путе-



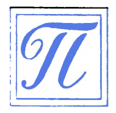
Петровская площадь.
Гравюра Б. Патерсена. Начало XIX в.

шествие по Петербургу: «Вот я на дрожках приехал на славный Васильевский остров: здравствуйте, любезная Академия художеств! Потом пробираюсь через Исаакиевский мост; сердце радуется при виде Невы и великолепного города; кланяюсь монументу Петра, оттуда на Невский проспект; заезжаю в Морскую к С. С. Уварову, встречаю у него А. И. Тургенева, г. Жуковского и желаю им доброго здоровья. От него к дому бышего великого благотворителя моего, всегда живущего в моей памяти, графа Александра Сергеевича Строганова... Отсюда везите меня поскорее к А. Н. Оленину... Верно, теперь у них И. А. Крылов, Н. И. Гнедич? Здравствуйте, милостивые государи! Я надеюсь, что К. Ф. Муравьева не поставит в труд кланяться от меня Н. М. Карамзину, Н. М. Муравьеву и г. Батюшкову».

Несколько лет спустя Пушкин спрашивал Александра Ивановича Тургенева: «Вы помните Кипренского, который из поэтического Рима напечатал вам в «Сыне отечества» поклон и свое почтение?».

Пушкин не случайно вспомнил письмо молодого художника и его воображаемую прогулку по Петербургу. Уж очень она была схожа с его собственными петербургскими маршрутами. Он бывал в тех же домах, знал и любил тех же самых людей.

У „дипломатики косой“



ушкин был выпущен из Лицея в чине коллежского секретаря. Не успел он приехать в северную столицу, как его вместе с другими шестью лицейскими сразу же зачислили на службу в коллегию иностранных дел.

Будущим дипломатам надлежало принять присягу. Это происходило на Английской набережной. Там, на берегу Невы, соперничая друг с другом в великолепии отделки, выстроились как на параде дома вельмож-богачей.



Английская набережная. Четвертый дом справа — Коллегия иностранных дел. *Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 20-е годы XIX в.*

Подписи Пушкина, Грибоедова и Кюхельбекера под текстом присяги при зачислении в коллегию иностранных дел 15 июня 1817 года.

Длинное двухэтажное здание с колоннами, где помещалась коллегия, тоже было перестроено известным зодчим Кваренги из дома екатерининского вельможи князя Куракина.

Присягу обставляли довольно торжественно. Подводил к ней священник сенатской церкви Никита Полухтович, присутствовал как свидетель один из чиновников коллегии.

Обязательство на разглашать государственные тайны Пушкин подписывал вместе с Кюхельбекером и еще одним молодым человеком в очках. Того, как и Пушкина, звали Александром Сергеевичем. Фамилия была Грибоедов. Он оставил военную службу, чтобы стать дипломатом. Пушкин, если бы мог, поступил бы наоборот.

Незадолго до выпуска, когда лицеисты обдумывали свою дальнейшую судьбу, Пушкин хотел идти в гусары. Но Сергей Львович воспротивился. Он заявил, что не имеет средств содержать сына в конной гвардии. Если хочет стать военным, пусть идет в пехоту.

От военной службы отговаривали все близкие. Дядя Василий Львович советовал посвятить себя юстиции или дипломатии.

В стихотворном послании к дяде Пушкин в сердцах восклицал:

Послушай, дядя, милый мой:
Ступай себе к слепой Фемиде
Иль к дипломатике косой!

«Слепая» Фемида — богиня правосудия — изображается с весами и с повязкой на глазах. Дипломатика, по мнению Пушкина, была если не слепой, то достаточно «косой». Он не без иронии относился к тем, кто

...хитрости рукой
Переплетает меж собой
Дипломатические вздоры
И правит нашею судьбой.

От гусарских мечтаний пришлось все же отказаться. И вот, по воле начальства, он в храме дипломатики.

Порядки в этом храме оказались удивительными. Министра иностранных дел тогда в России не было. Внешней политикой страны заправлял сам царь.

Пушкин знал царя с детства. Полный, красивый, лысеющий господин с благосклонной улыбкой и мягкими манерами. Такова была внешность. А за этой внешностью таилась натура лукавая и мстительная, вероломная и изменчивая. Историк писал о царе: «Ум имел он недальний и невысокий, но хитрый до крайности; лукавый и скрытный, он вполне заслужил сказанное об нем Наполеоном I: «Александр лукав, как грек византийский». Слабый характером, он скрывал эту слабость под величавостью своей осанки».



Александр I на набережной Невы.
Литография по рисунку А. Орловского. Начало XIX в.

Лицеисты слишком близко помещались ко дворцу, чтобы уважать Александра I как человека и деятеля. Они знали о нем все, вплоть до места его свиданий с дочерью придворного банкира барона Вельо. Уважать было не за что. Александр не совершил ничего выдающегося. Его вмешательство в военные дела всегда кончалось плачевно. Ему не могли простить Аустерлица, когда он в кампанию 1805 года заставил Кутузова начать заведомо безнадежное сражение. И 1812 год не прибавил ему славы. Все с облегчением вздохнули, когда царь уехал из армии.

В Петербурге он заперся в Каменноостровском дворце и со страхом ждал, что же будет дальше. С его ведома коллегии и прочие государственные учреждения готовились к отъезду. Был составлен даже план, как снять со скалы и вывезти Медного всадника. И тут

пошли слухи. Рассказывали, что приснился одному из столичных жителей — майору Батурину — удивительный сон. Снилось ему, будто видит он себя на Сенатской площади, где стоит памятник Петру. И будто вдруг съезжает со своей скалы бронзовый Петр, мчится через Исаакиевский мост на Васильевский остров, затем на Петербургскую сторону и въезжает во двор Каменноостровского дворца. Гулко звучат на пустынном дворе медные копыта. На шум выходит император Александр.

— Молодой человек, до чего ты довел мою Россию? — грозно спрашивает Петр. И объявляет громовым голосом: — Знай, покуда я стою на своей скале, Петербург неприступен.

Говорили, что рассказ этот дошел до Александра, и он, устыдившись, велел не трогать Медного всадника.

Так и был царь не у дел, пока Кутузов не разбил Наполеона и русская армия не вступила в Европу. Тогда царь отправился пожинать лавры победителя.

После окончания войны Александр занялся дипломатией.

Что же происходило тогда в Европе?

Однажды на остров Святой Елены, куда был сослан Наполеон, приехал английский путешественник. Он попросил разрешения повидать изгнанного императора. Наполеон его принял. Они долго беседовали. Наполеону хотелось знать, засияло ли после его изгнания над Европой солнце разума. Путешественник ответил, что — увы! — небо в тучах. И повинны в этом европейские правители. Когда шатались их троны, когда ускользала их власть, короли и князья Европы обещали своим народам свободу, права, справедливые законы. Они уверяли, что единственное препятствие к этому — Наполеон Бонапарт. И вот препятствие исчезло.

Изменило ли это что-нибудь?

— Ваше падение, — рассказывал Наполеону путешественник, — показало удивленному миру, что существуют силы, не зависящие от вас... Когда исчезла опасность, государи не подумали сдержать свое слово, вырванное у них одним только страхом.

Заговорили о русском царе.

— Российский император, — сказал Наполеон, — которому его характер, власть и, главным образом, события тысяча восемьсот двенадцатого года обеспечили первое место среди союзников, почувствовал, что для достижения власти, равной моей, надо или стать завоевателем, или покорить мнение самыми сильными соблазнами. Мой пример должен был показать ему, сколько опасно первое средство, — он решился на второе. Сверх того, самолюбие говорило ему, что для него будет бесконечно лестно, если, сравнивая нас друг с другом, вселенная представит его добрым, а меня злым гением Европы.

Разговора этого не было. Не говорил таких слов Наполеон Бонапарт, не обсуждал он с английским путешественником положения дел в Европе. Разговор этот придумал знакомец Пушкина, сослуживец его по иностранной коллегии — Александр Улыбышев. Он хорошо разбирался в дипломатии и политике, верно все представил. Русский царь действительно избрал «второе средство» — решил покорить Европу при помощи «сильных соблазнов».

Свобода и справедливость — так назывались соблазны. И Александр на словах пустил их в ход. Он порицал тиранов. Говорил про французскую королевскую династию, которая после изгнания вернулась во Францию и принялась за старое: «Бурбоны не исправились и неисправимы».

Сам он пытался действовать хитрее, как в одной истории, которую рассказывали про него. История была такая.

Как-то встретился царю пехотный полк, за которым на нескольких возах везли розги. Царь увидел это и крикнул: «Безобразие!» Полковник подумал: царь возмущается тем, что солдат секут. Но дело быстро разъяснилось. «Да нет,— раздраженно сказал царь,— а прикажите воз прикрыть ковром или чем другим, чтобы не было видно розог».

Такова была и его европейская политика. Он не собирался отказываться от розог, но заботился о том, чтобы их не было видно.

В 1815 году, вскоре после того, как Наполеона сослали на остров Эльбу, вся Европа узнала, что три государя — Александр I, Франц I Австрийский и Фридрих-Вильгельм III Прусский — заключили «во имя пресвятой и неразделенной троицы» так называемый Священный союз. Придумал этот союз и сочинил его декларацию император Александр. Он обещал, что в своих действиях Священный союз будет опираться на волю бога, на «святую веру», на «глагол всевышнего». Слова были красивые. Но «розги» лезли наружу. Как ни хитрил Александр, скоро стало ясно, что Священный союз — это всеевропейская полиция, осененная крестом. Причем главный полицмейстер — русский царь. Его подручный — австрийский канцлер Меттерних. Обманув свои народы, европейские правители опасались революций и решили объединиться, чтобы их предотвратить.

С тех пор Александру не сиделось в России. Он колесил по Европе, наводя там порядки. Его видели то во Франции, то в Польше, то в Германии. А в здании на Английской набережной распоряжались два статс-секретаря. Два человека с совершенно различными взглядами, как будто специально подобранные так, чтобы было непонятно, чего же хочет царь. Первый статс-секретарь был немец Нессельроде, второй — грек Каподистрия. Нессельроде ведал западными делами, Каподистрия — восточными.



К. В. Нессельроде.
Гравюра Ф. Лемана. 20-е годы XIX в.

Соученик Пушкина по Царскосельскому лицею князь Александр Горчаков, который вместе с ним был зачислен в коллегию, рассказывал: «Начал я свою карьеру служебную под покровительством и руководством знаменитого впоследствии президента Греческой республики графа Каподистрии. Но этого покровительства было достаточно, чтобы вызвать ко мне нерасположение Нессельроде, который был смертельный враг Каподистрии».

Статс-секретари враждовали между собой. Пушкину предстояло явиться к обоим.

Когда он переступил порог кабинета Нессельроде, то тотчас же подумал, что в России, собственно, полтора статс-секретаря. Граф Карл Васильевич Нессельроде не вышел ростом. Он был так мал, что насмешники окрестили его «карлой», то есть карликом. Дипломатические таланты графа соответствовали его росту. Но



И. А. Каподистрия.
Литография Г Гиппиуса. 1822 г.

спеси у «карлы» хватало на троих. Он едва цедил слова, был важен, как божок.

«Вновь зачисленный переводчик Пушкин...» Это имя ровно ничего не говорило Нессельроде. Стихов он не читал, тем более русских. Смешно сказать — этот русский сановник не знал русского языка. С царем и подчиненными изъяснялся по-французски. Его идеалом и кумиром был реакционер Меттерних. Его так и называли: «Тень Меттерниха». На европейских конгрессах он смотрел австрийцу в рот. Нет, этот жрец дипломатики не делал ей чести.

Совсем другим оказался граф Каподистрия. Он с первого взгляда внушал уважение и симпатию. И хотелось узнать: что привело этого южанина со смуглым тонким лицом и не по возрасту седой головой сюда, на берега Невы?

Иоаннис Каподистрия (в России его называли Иваном Антоновичем) родился на Корфу — одном из населенных греками Ионических островов. Образование Каподистрия получил в Италии, где окончил в Падуанском университете два факультета — философский и медицинский. Он готовился служить своей угнетенной родине. Она нуждалась в этом. Уже больше двух веков Ионические острова и близлежащая к ним Греция стонали под игом турок. Мало того. В конце восемнадцатого века родину Каподистрии захватили французы. Готовя поход в Египет, Ионическими островами овладел Наполеон Бонапарт, тогда еще генерал республиканской армии.

Вскоре французов изгнала русская военная эскадра под водительством адмирала Ушакова. Рискуя навлечь на себя гнев царя Павла I, Ушаков помог грекам-островитянам учредить у себя республику. Министром иностранных дел Республики семи островов стал Иоаннис Каподистрия.

Но французы вернулись, республика пала. Ценя выдающиеся таланты молодого дипломата, французы предложили Каподистрии пойти к ним на службу. Он отказался и принял предложение служить России. Здесь надеялся помочь своей порабощенной родине.

В 1809 году он приехал в Петербург.

Когда разразилась война 1812 года, Каподистрия служил в дипломатической канцелярии русского главнокомандующего Барклая де Толли. Он не раз отличился, ведя важные переговоры, и вернулся в Петербург уже статс-секретарем.

Карамзин называл Каподистрию «умнейшим человеком нашего двора». Свое влияние при дворе Каподистрия использовал для обуздания сил реакции, противодействуя союзу с реакционнейшей Австрией. Потому-то так ненавидели его Нессельроде и Меттерних. И еще была причина — помощь греческим патриотам. Чтобы бороться против турок, освободить свою родину, греческие патриоты объединились в тайное общество. Они готовили восстание. Каподистрия помогал им чем только мог. В его квартире на Английской набережной в здании иностранной коллегии нет-нет да и появлялись смуглые люди, похожие на переодетых корсаров — морских разбойников. Это были посланцы далекой Греции.

О Пушкине Каподистрия слышал от Карамзина, у которого бывал. К вновь принятому переводчику отнесся он сочувственно. Поэт... Каподистрия ценил этот дар богов.

Итак, Пушкина причислили к российской дипломатике. Ему положили скромное жалованье — семьсот рублей в год. Что ждало его здесь, на служебном поприще? Его лицейский товарищ князь Александр Горчаков сделал блестящую карьеру — дослужился до министра. Но даже ему для этого понадобилось целых сорок лет. А уж

он-то обладал всеми нужными качествами. Его любимым изречением было: «Не кажитесь никогда ни более мудрым, ни более ученым, нежели те, с кем вы находитесь».

Карьеру делали единицы. Большинство чиновников коллегии изо дня в день многие годы переписывали бумаги, делали «кувертики» — особые конверты для дипломатической почты, — толковали о недостатке дичи на берегах Финского залива, о Троянской войне и прочих важных материях.

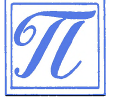
Литератор П. С. Жихарев, который за десять лет до Пушкина был зачислен в коллегию, рассказывал о своем разговоре с поэтом Державиным, человеком чиновным и осведомленным. Когда Державин узнал, где служит Жихарев, он воскликнул: «Похлопочи, чтобы тебя перевели... а то в коллегии вас столько, что ни до чего не добьешься».

Пушкин не собирался здесь чего-нибудь добиваться. Перед выпуском из Лицея, отказавшись от мечтаний о гусарстве, он написал в стихотворении «Товарищам»:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак...

Внешняя политика России интересовала Пушкина как писателя, а не как дипломата. Служебной карьере предпочитал он поэтическую свободу, символом которой был красный колпак — головной убор времен Французской революции. В коллегии Пушкин числился, но не служил.

„Святое братство“



ервое время он вскакивал спозаранку и испуганно прислушивался: «Проспал!». Но почему же не слышно в коридоре веселого топота и громких голосов? Почему не разбудил его дежурный дядька?

Лицей отступал не сразу. Сны были лицейские. То он в лицейском зале читает перед Державиным свои стихи, то ссорится и мирится с Жанно Пущиным, то крадется по темному дворцовому коридору. Он поджидает Наташу — хорошенькую горничную старой фрейлины Волконской. Чу! — шаги... Наташа! Он кидается и — о

ужас! — награждает поцелуем обомлевшую фрейлину... И слышит голос царя: «Что же это будет? Они не только рвут через забор мои наливные яблоки, но и не дают проходу фрейлинам моей жены».

Сон повторялся. Пушкин просыпался в холодном поту. Тотчас вспоминалось все происшествие. Их директору Энгельгардту пришлось пустить в ход все свои незаурядные дипломатические таланты, чтобы уладить дело.

Поговаривали, что из-за этого случая царь ускорил их выпуск.

Лицей, друзья... Иных уж нет с ним. Недавно они провожали до Кронштадта Федора Матюшкина. В Лицее мечтал он о море, и вот теперь на военном шлюпе «Камчатка» под командой капитана Головина отправился в кругосветное плавание. Ему предстоит, обогнув Южную Америку, побывать в российских владениях на Аляске, посетить в Калифорнии русский форт Росс. И Гавайские острова. И остров Святой Елены, где под охраной англичан томится Наполеон.

Сколько картин и встреч, сколько новых впечатлений... Они много говорили об этом. Пушкин советовал Матюшкину, как вести путевой дневник, что записывать, чтобы не упустить самого важного; «подробностей жизни, всех обстоятельств встреч с различными племенами, особенностей природы».

Алексей Илличевский тоже далеко. После Лицея он уехал в Сибирь, в Томск, где отец его служит губернатором. Он писал Кюхельбекеру, просил рассказать о товарищах, поклониться им «низенько». А в Сибири, рассказывал он, говорят вместо Толстой, Пушкин, Илличевский — Толстых, Пушкиных, Илличевских.

Но самые близкие — его Пущин, его Дельвиг, его Кюхельбекер — здесь, в Петербурге. И в пестрой суете столичной жизни Пушкин не мог без них. Прощаясь, в последние лицейские дни, он писал Кюхельбекеру:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.

Их лицейское братство продолжалось и ныне. Они постоянно виделись.

Кюхля жил недалеко. Стоило перейти Калинкин мост через узкую Фонтанку, и на другом берегу ее — дом с мезонином, принадлежащий статскому советнику Отто. В этом доме помещался Благородный пансион при Главном педагогическом институте. Кюхельбекер здесь преподавал. Он умудрялся совмещать великое множество занятий: служил в архиве иностранной коллегии, давал уроки русской словесности и латинского языка в Благородном пансионе,



В. К. Кюхельбекер.
Рисунок Пушкина. 1825 г.

был здесь гувернером и еще находил время писать и печатать стихи и статьи. Жил он тут же, при пансионе, вместе с тремя своими воспитанниками. Одного из них звали Миша Глинка. Он впоследствии прославил русскую музыку.

В Благородном пансионе учился и младший брат Пушкина — Лев. Навещая его, Пушкин виделся с Кюхлей. Они дружили попрежнему, но, как и в лицейские годы, не обходилось без стычек. Раз дошло до ссоры. Из-за стихов Пушкина.

Вскоре после Лицея Пушкин ввел Кюхлю к Жуковскому и сам был не рад. Кюхля зачастил. Хотя Жуковский не жаловался — он был очень деликатен, — Пушкин понимал, что красноречивый гость заговаривает хозяина, что его набеги утомительны. А тут еще случилось: Жуковского звали куда-то на вечер, но он не явился и после объяснил, что у него расстроился желудок, к тому же пришел Кюхельбекер, ну, он и остался дома.

Пушкин не утерпел и сочинил эпиграмму. От имени Жуковского:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

Про слугу Жуковского Якова, который будто бы по ошибке запер своего барина вместе с Кюхельбекером, Пушкин присочинил для красного словца.

Стихи дошли до Кюхли. Что тут началось! Обидчивый Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль.

Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться нельзя было. В назначенный день они встретились на Волковом поле, отыскали какой-то недостроенный фамильный склеп и устроились в нем. Секундантом Кюхельбекера был Дельвиг. Когда Кюхля начал целиться, Пушкин закричал:

— Дельвиг! Стань на мое место, здесь безопаснее.

Кюхельбекер взбесился, рука у него дрогнула, он сделал полоборота и прострелил фуражку Дельвига.

— Послушай, товарищ, — сказал ему Пушкин, — говорю тебе без лести: ты стоишь дружбы без эпиграммы, но пороху не стоишь.

Он бросил пистолет, и они помирились. Поостыв, Кюхельбекер повинился перед Пушкиным:

Так! легко мутит мгновенье
Мрачный ток моей крови;
Но за быстрое забвенье
Не лишай меня любви!
Редок для меня день ясный!
Тучами со всех сторон
От зари моей ненастной
Был покрыт мой небосклон.
Глупость злых и глупых злоба
Мне и жалки и смешны;
Но с тобою, друг, до гроба
Вместе мы пройти должны!
Неразрывны наши узы!
В роковой священный час —
Скорбь и Радость, Дружба, Музы
Души сочетали в нас!

Подобные происшествия не омрачали их дружбы.

Пущин жил там же, где и раньше, — на Мойке, в старом доме своего деда-адмирала.

«Первый друг» Пушкина — добрый, умный Жанно, любимец всего Лицея — превратился в статного гвардейского офицера,

сосредоточенного, серьезного. Он чуждался света и светских развлечений, жил какой-то особой, значительной жизнью.

У Пущина они праздновали лицейскую годовщину — 19 октября 1818 года. «19 этого месяца в количестве 14 человек мы собрались у Пущина, — писал Горчакову лицеист Николай Корсаков. — Пели лицейские песни... Снова возвратились в старое доброе время».

Пушкин, случалось, забегал на Мойку к другу. Если не заставал его, оставлял записки и смешные рисунки. Но чаще они виделись в другом месте. «Большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига», — рассказывал Пущин.

Дельвига после Лицея зачислили на службу в департамент горных и соляных дел. Но, прежде чем впрячься в служебную лямку, он уехал в отпуск на Украину к родным. Оттуда писал Пушкину:



Дом № 14 по набережной Мойки, принадлежавший деду И. И. Пущина. *Фотография.*



И. И. Пущин.
Акварель Д. Соболевского. 1825 г.

А я ужель забыт тобою,
Мой брат по Музе, мой Орест?
Иль нельзя снестись мечтою
До тех обетованных мест,
Где я зовуся чернобривым...

Пушкин не забывал Дельвига, и как только тот возвратился, стал его частым гостем.

За те полгода, что они не виделись, Дельвиг мало изменился. Разве чуть-чуть возмужал, да еще надел очки, которые ему не разрешали носить в Лицее. А в остальном это был все тот же «ленивец



А. А. Дельвиг.
Акварель неизвестного художника, 1817—1818 гг.

сонный» Дельвиг — невозмутимый, медлительный, остроумно-насмешливый. Горные и соляные дела его не волновали. Службой он манкировал. Свои обязанности в департаменте ограничивал тем, что рассказывал сослуживцам анекдоты. Он был прекрасный рассказчик, и его, как и в Лицее, вечно окружали смеющиеся слушатели.

Как поэт он был уже известен. В 1818 году его избрали действительным членом Санкт-Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств.

Дельвиг жил на скудное жалованье и вечно нуждался. Чтобы сэкономить на квартире, он селился с друзьями. Сперва жил в Троицком переулке вместе с братом своего лицейского товарища Яковлева — Павлом. Потом перебрался к молодому поэту Евгению Баратынскому. Они познакомились и быстро сошлись.

Превратности судьбы заставили Баратынского вступить рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. В виде особой милости ему раз-



Е. А. Баратынский.
Литография Ф. Шевалье. 20-годы XIX в.

решили жить не в казарме, а на частной квартире. Он поселился в Пятой роте Семеновского полка.

«Ротами» называли тогда в Петербурге улицы, где квартировали гвардейские полки. Там селились и военные, и простые обыватели.

Баратынский снял квартиру в маленьком домике отставного кофешенка Ежевского. Когда-то Ежевский служил при дворе, где ведал кофе, чаем, шоколадом. Он знавал еще отца Баратынского — генерал-майора, павловского служаку — и теперь охотно приютил его сына с товарищем.

Биограф Дельвига Гаевский так описывает жизнь его и Баратынского в домике старого кофешенка: «Оба поэта жили самым оригинальным, самым беззаботным и потому беспорядочным образом, почти не имея мебели в своей квартире и не нуждаясь в подобной роскоши, почти постоянно без денег, но зато с неиссякаемым запасом самой добродушной, самой беззаботной веселости.

Хозяйственные распоряжения в домашнем быту обоих поэтов представлены были на произвол находившегося у Дельвига в услужении человека Никиты, который в лености и беспечности мог поспорить только со своим барином. Вероятно уважая в нем собственные качества, Дельвиг не отпускал Никиту».

Свое житье-бытье оба поэта описали в шутливых стихах, на которые Дельвиг был особенный мастер:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!)
Шли и твердили, шутя: какое в россиянах чувство!

Стихи эти очень нравились Пушкину. Он их надолго запомнил. Особенно его смешило то, что о вещах столь прозаических, как долг в лавочку и отсутствие перчаток, говорилось пышным гекзаметром.

В скромной квартире Дельвига и собирались друзья.

Дельвиг воспевал эти сборища в стихах:

А вы, моих беспечных лет
Товарищи в весельи, в горе,
Когда я просто был поэт
И света не пускался в море, —



Бывшие казармы Семеновского полка на Звенигородской улице (5-я рота Семеновского полка).
Фотография.

Хоть на груди теперь иной,
Считает ордена от скуки. —
Усядьтесь без чинов со мной,
К бокалам протяните руки,
Лицейски песни запоем,
Украдем крылья у веселья,
Поговорим о том, о сем,
Красноречивые с похмелья!

Было немного вина, много острых слов, шуток, лицейских воспоминаний, лицейских песен. И разговоры «о том, о сем».

Каковы они были, эти разговоры, можно судить по письму директора Лицея Егора Антоновича Энгельгардта, который не порывал связи со своими бывшими воспитанниками. Он писал Матюшкину: «Дельвиг пьет и спит и кроме очень глупых и опасных для него разговоров ничего не делает». Под «очень глупыми и опасными разговорами» Энгельгардт подразумевал разговоры политические, в которых осуждалось правительство.

Такие разговоры велись еще в Лицее. Пушкин в Царском Селе был частым гостем свободомыслящих гусаров; Пущин, Кюхельбекер и Дельвиг — офицерской «Священной артели». Там, по словам Пущина, постоянно велись беседы «о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне».

Теперь такие беседы продолжались у Дельвига. И не случайно.

Кюхельбекер в Благородном пансионе устраивал дискуссии, поощрял политические споры, читал своим питомцам запрещенные стихи. Недаром в доносах правительству его аттестовали как «молодого человека с пылкой головой, воспитанного в Лицее».

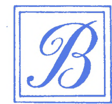
Пущин сразу после Лицея вступил в Тайное общество. Он принадлежал к тем мыслящим молодым офицерам, о которых поэт-декабрист Федор Глинка писал:

...молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал,
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом,
У них чело яснилось думой,
Из-за которой ум сиял.

А Пушкин?.. В том же стихотворении о нем было сказано:

Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин.

Сверчок в „Арзамасе“



один из ненастных сентябрьских вечеров — такие обычны на брегах Невы, когда осень вступает в свои права, — в квартире директора департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий Александра Ивановича Тургенева происходило нечто странное. Обширный кабинет хозяина, заваленный книгами, газетами, бумагами, был ярко освещен. В камине пылал огонь. Вокруг стола и на диване в непринужденных позах сидели несколько человек, и все с улыбкой слушали невысокого курчавого юношу в красном колпаке. А тот, стоя перед ними, с воодушевлением звонким голосом читал написанную стихами речь.

Что здесь происходило? Это было очередное заседание дружеского литературного кружка «Арзамас». В его члены принимали Александра Пушкина.

«Арзамас»— боевое и веселое содружество литераторов — родился в 1815 году, в разгар «страшной войны на Парнасе». Тогда все российские писатели разделились на две партии — шишковистов и карамзинистов — и сражались между собой.

Староверов-шишковистов возглавлял «Дед седой» Шишков — одержимый старик, упорный и воинственный. Он имел чин адмирала, занимал высокие должности. Будь его воля, он вернул бы Россию к тем временам, когда носили бороды, жили по Домострою. И отгородил бы ее от всего прочего мира. Особенно от Франции — источника «пагубной» философии и революционной заразы.

В море адмирал уже давно не ходил — воевал на суше. Уединившись в своем особняке на Фурштадтской улице, написал он «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». В «Рассуждении» заявлял, что языком русской литературы должен быть церковнославянский, язык церковных книг, что иностранные слова, вошедшие в русский язык, надо заменить другими, собственного изготовления: например, галоши — мокроступами, тротуар — топталищем, бильярдный кий — шаротыком и так далее, в этом роде.

Видя, что русская литература идет по другому пути, Шишков и его приверженцы объявили войну тем писателям, которые не разделяли их взглядов. Шишковисты, не долго думая, нарекли их якобинцами, и, по меткому выражению Василия Львовича Пушкина, уверяли:

Кто пишет правильно и не варяжским слогом,
Не любит русских тот и виноват пред богом.

Особенно нападали шишковисты на Карамзина, на его мирные чувствительные творения, которые выдавали чуть ли не за револю-



А. С. Шишков.
Литография Г. Гиппиуса. 1822 г.

ционные прокламации. А все потому, что Карамзин указал другим опасный путь, стараясь писать легко, понятно, вводя новые слова. Такие, например, как «переворот». А от переворота на бумаге недалеко до переворота и на деле, полагали шишковисты. И хотя Карамзин давно уже отошел от литературы, посвятив себя истории, и ни о каких переворотах не помышлял, его враги не унимались. Стоило ему получить от царя орден за исторические труды, как к министру просвещения летел злобный донос.

«Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г-на Карамзина, — писал плохой поэт сенатор П. И. Голенищев-Ку-

тузов. — Вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинческого яда... Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть, не хвалить его сочинения, а надо бы их сжечь».

Шишковисты действовали скопом, пользовались поддержкой правительства. Еще в 1811 году объединились они в общество со старинным названием «Беседа» — «Беседа любителей русского слова».

«Любители были все чиновные и знатные: князья, графы, министры, митрополиты, советники тайные, статские... Возглавил «Беседу» все тот же Шишков. Только двух больших писателей удалось ему привлечь — престарелого Гаврилу Романовича Державина да Ивана Андреевича Крылова. Остальные же беседчики не блистали талантами. На заседаниях их общества мухи мерли от скуки. И Иван Андреевич Крылов, который не раз засыпал под чтение од и трагедий, метко высмеял «Беседу» в своей «Демьяновой ухе». Он советовал беседчикам уметь вовремя помолчать.



«Рифмач».
Сатирический рисунок А. Венецианова. Начало XIX в.



В. Л. Пушкин.
Гравюра С. Галактионова. 20-е годы XIX в.

Но куда там! Шишковисты рвались в бой. Один из самых рьяных — князь А. А. Шаховской — в комедии «Липецкие воды» намарал пасквиль на Жуковского, представив его в виде жалкого балладника Фиалкина.

Карамзинисты не стерпели. Тогда-то для борьбы с «Беседой» объединились несколько молодых литераторов в дружеский кружок «Арзамас».

В «Арзамас» вошел цвет тогдашней литературы: Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, Вяземский, дядя Пушкина Василий Львович и, наконец, сам юный Пушкин.

Когда родился «Арзамас», Пушкин был еще в Лицее. Но по рассказам Жуковского и других друзей знал все о кружке. И все ему нравилось: боевой дух арзамасцев, их веселые затеи. А затей было множество. Пушкин смеялся до слез, слушая, как принимали

в «Арзамас» его дядю Василия Львовича, когда тот приезжал из Москвы. Все это придумал Жуковский. Сперва Василия Львовича положили на диван и завалили шубами, устроив ему «шубное прение» в память о поэме беседчика Шаховского «Похищенные шубы». Василий Львович «прел», а Жуковский говорил над ним речь:

— Какое зрелище перед очами моими? Кто сей обремененный толикими шубами страдалец? Не узнаю его! Сердце мое говорит мне, что это почтенный друг мой Василий Львович Пушкин... Потерпи, потерпи, Василий Львович!.. Да погибнет ветхий Василий Львович! Да воскреснет друг наш возрожденный Вот! Рассыптесь, шубы! Восстань, друг наш! Гряди к «Арзамасу»! Путь твой труден. Ожидает тебя испытание!

Путь бедного Василия Львовича в «Арзамас» был действительно не легок для человека таких лет и такой комплекции. Его ожидали еще испытания. После «шубного прения» завязали ему глаза и водили с лестницы на лестницу, пока не привели в комнату, где стояло чучело, изображавшее славянофила. Тут испытуемому развязали глаза, дали лук и стрелу и велели поразить недруга. Василий Львович выстрелил. Одновременно с ним кто-то выстрелил из пистолета. Это стрелял холостым мальчик, спрятанный за чучелом. Чучело упало, а вместе с ним и Василий Львович.

Еще пришлось Василию Львовичу «облобызать Сову правды», «умыться водой потопа» и, держа в руке мерзлого арзамасского гуся, выслушать приветственные речи своих собратьев по кружку.

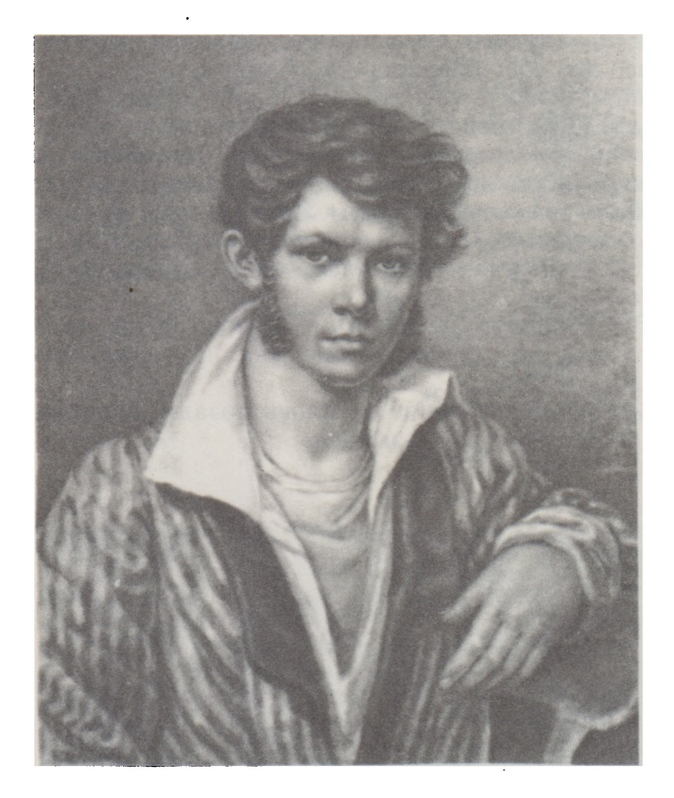
По сравнению с «Беседой», в «Арзамасе» все было наоборот. Там — надутость и скука, здесь — простота и веселость. Само название кружка подчеркивало это.

Что такое Арзамас? Заштатный маленький городишко где-то в Нижегородской губернии. Знаменит он не вельможами, а жирными гусями. И члены кружка назывались «гуси». Гуси простые и гуси почетные. В почетных числились Карамзин, начальник Пушкина по иностранной коллегии граф Каподистрия.

Все члены «Арзамаса» взяли себе прозвища из баллад Жуковского: имена, восклицания и выражения оттуда. Так, сам Жуковский назвался Светланой, Батюшков — Ахилл, Вяземский — Асмодей, Василий Львович Пушкин — Вот или Вот я вас, Александр Иванович Тургенев — Эолова арфа, Дашков — Чу, Вигель — Черный вран, Воейков — Дымная печурка или Две огромные руки.

Арзамасское прозвище юного Пушкина было Сверчок — из баллады «Светлана»: «Крикнул жалобно сверчок, вестник полуночи».

«Беседа» обставляла свои заседания торжественно. Собирались у Державина, в его доме на Фонтанке, в большом зале с колоннами



П. А. Вяземский.
Рисунок И. Зонтаг. 1821 г.

под желтый мрамор. Приходили в мундирах и при орденах. Приглашали и посторонних по особым билетам.

Арзамасцы же сходились по-домашнему, попросту у кого-нибудь на квартире. Они вынесли решение: «Признать Арзамасом всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо, какое бы оно ни было — чертог, хижина, колесница, салазки». И действительно, одно из заседаний кружка состоялось в карете на пути из Петербурга в Царское Село.

В пику «Беседе», не терпевшей вольнодумства, председатель собрания арзамасцев надевал «украшение якобинцев» — красный колпак. В таком же колпаке говорил вступительную речь и каждый новый член кружка.

Оружием арзамасцев были сатира, пародия, эпиграмма, «галиматья» — и все это обрушивалось на «Беседу».

Воспитанник Лицея Александр Пушкин душой был с «Арзамасом» и, как мог, участвовал в литературной войне. Он написал эпиграмму на столпов «Беседы» — Шишкова, Шихматова, Шаховского. Свое послание к Жуковскому подписал: «Арзамасец». Пушкин с нетерпением ждал часа, когда окончит Лицей, чтобы «участвовать в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова», — так писал он из Лицея арзамасцу Асмодею — Вяземскому.

«На выпуск молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество», — рассказывал арзамасец Вигель.

И вот лицейское заточение осталось позади. Пушкин больше не школяр. Его принимают в «Арзамас».



Дом № 118 по набережной Фонтанки, принадлежавший Г. Р. Державину.
Фотография.

Протокол «Арзамаса» № 21.
Автограф В. А. Жуковского.

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Но «дивному Арзамасу» не суждена была долгая жизнь.

В 1816 году умер Державин. После его смерти окончила свое существование и «Беседа». Дом, где собиралась она, был сдан внаймы. «Она осиротела, рассеялась и даже отдана внаймы за десять тысяч рублей; я говорю о здании: за членов, увы, ничего не дают. . .»— писал арзамасец Уваров.

«Беседы» больше не было, и стрелы арзамасской сатиры ржавели втуне. Уже иные бои волновали русское общество.

Перед «Арзамасом» встал вопрос: что же делать дальше?

Незадолго до Пушкина в кружок были приняты три новых члена: Варвик — Николай Иванович Тургенев, Рейн — генерал Михаил

Федорович Орлов и Адельстан — Никита Михайлович Муравьев. Все трое — будущие декабристы.

29 сентября 1817 года Николай Тургенев записал в своем дневнике: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство, но средства предлагаемые не всем нравятся».

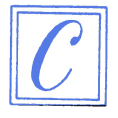
Николай Тургенев, Никита Муравьев, Михаил Орлов хотели обновить «Арзамас», дать ему серьезную цель, превратить его в кружок политический. Но не тут-то было. Такие «гуси», как Уваров, Блудов, Кавелин, не желали ссориться с правительством, портить свою карьеру. Им было не по дороге с будущими декабристами.

«Арзамас» угасал.

К тому же многие его члены разъехались: Орлова услали в Киев, Вяземский уехал служить в Варшаву, Дашков — в Константинополь, Блудов — в Лондон, Полетика — в Вашингтон. Что же касается Сверчка — Пушкина, то Жуковский писал о нем в своей арзамасской речи: «...Сверчок, закопавшись в щелку проказы, оттуда кричит как в стихах: я ленюсь».

Очевидно, беззубый, изживший себя «Арзамас» уже стал неинтересен Пушкину.

„Хочу воспеть свободу миру“



Сослуживец Пушкина по иностранной коллегии Николай Иванович Кривцов записал в своем дневнике: «Вчера я был у Тургеневых, где был молодой Пушкин, исполненный ума и обещающий еще больше в будущем».

Пушкин особенно охотно бывал у братьев Тургеневых. И не только на заседаниях «Арзамаса». Его влекло в эту обширную холостяцкую квартиру, где встречал он так много интересных людей. Да и сами братья ему нравились, хотя относился он к ним не одинаково. К старшему — Александру Ивановичу — шутливо, фамильярно. К младшему — Николаю Ивановичу — серьезно, почтительно.

Оба Тургеневы отличали его. Николай Иванович писал в Париж своему второму брату Сергею: «У нас есть теперь молодой поэт — Пушкин, который точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду».

Александр Иванович разделял мнение брата. Они жили, что называется, душа в душу, хотя и были очень разные.



А. И. Тургенев.
Рисунок Кестнера. 10-е годы XIX в.

Александра Тургенева приятели в шутку окрестили «рыскун» — он не любил сидеть дома. Его можно было увидеть везде — в зале благочестивого Библейского общества и в будуаре модной красавицы, на дружеской пирушке и на заседании «Арзамаса». Там, умаявшись за день, он с улыбкой дремал. Был он прекрасно образован, все на свете знал, но всерьез не занимался ни литературой, ни наукой. По службе ему везло. В тридцать лет Александр Иванович уже звался «ваше превосходительство», управлял целым департаментом. Его неистощимой энергии хватало на все. «Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами...

Остаток дня рыскал он по всему городу, часто ходатаем за приятелей и знакомых своих, а иногда и за людей, совершенно ему посторонних... Список всех людей, которым помог Тургенев, за которых заступался, которых восстановил, во время служения своего мог бы превзойти длинный список любовных побед, одержанных Дон-Жуаном», — вспоминал об Александре Ивановиче хорошо знавший его Петр Андреевич Вяземский.

«Арзамасский опекун» — неутомимый Тургенев — выхлопотал пособие Жуковскому, чтобы тот мог спокойно заниматься литературой, добился для Батюшкова дипломатической службы в русской миссии в Неаполе, для Вяземского — назначения на службу в Варшаву.

Старинный друг семьи Пушкиных, он помог в свое время поместить двенадцатилетнего Александра в Царскосельский лицей. И квартиру на Фонтанке в доме Клокачева Пушкины сняли по его, верно, рекомендации: владелица дома — племянница адмирала Клокачева — была замужем за двоюродным братом Александра Ивановича.

Второй из Тургеневых — Николай, или, как его называли за хромоту, «хромой Тургенев» — ничем не напоминал своего старшего брата. Он мало где бывал, к развлечениям не имел склонности. Экономика и политика — вот что поглощало его. Он обладал выдающимся государственным умом и, несмотря на молодость, занимал важные должности. Те, что требовали ума. Когда русские войска освободили Германию, Николай Тургенев представлял там русское правительство. Вернувшись в Петербург в 1816 году, он получил назначение в Государственный совет.

Одна идея всецело владела этим человеком. Везде и всюду, письменно и устно он доказывал необходимость отменить в России рабство. Он внушал это всем своим молодым знакомым. «Они молоды, необразованны, думал я, но они помещики, имеют крепостных людей. Разговаривать с ними для меня скучно, но разговоры мои могут иметь последствием несколько отпускных!» Так объяснял Николай Тургенев свое поведение.

После смерти Александра I в его кабинете в Царском Селе был найден донос на тайное политическое общество «Союз Благоденствия». В доносе говорилось:

«Кажется, что наиболее должно быть обращено внимание на следующих людей:

1) Николая Тургенева, который нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде выиграть все при перевороте. Его-то наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей».

Одним из таких молодых людей был Александр Пушкин.



Н. И. Тургенев.
Миниатюра Сенгри. 10-е годы XIX в.

Живой, непоседливый, ребячливый Пушкин как-то сразу взрослел в присутствии «хромого Тургенева». Почитал его как учителя. А учитель твердил: стыдно тратить свой дар на элегические ахи и охи, воспевать мнимые горести, несчастливую любовь, когда на всем необозримом пространстве России — от Петербурга до Камчатки — раздается стон народа...

Пушкин пробовал защищаться:

К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
На лире с трепетом брожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?

Но слова Тургенева западали в душу. Он был прав...

Как раз в это время Сергей Тургенев сделал такую запись в своем дневнике: «Мне опять пишут о Пушкине, как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность, и, вместо оплакиваний самого себя, пусть первая его песнь будет: Свободе».

Николай и Сергей Тургеневы были единомышленниками.

Запись Сергея Тургенева сделана 1 декабря 1817 года. А меньше чем через месяц случилось следующее.

В тот декабрьский вечер у Николая Тургенева собрались, как обычно, его друзья — «высокоумные молодые вольнодумцы». Был среди них и Пушкин.

И вот кто-то из присутствующих подвел его к окну и шутливо предложил написать стихи о Михайловском замке. Из окон квартиры Тургеневых замок был прекрасно виден. Братья жили на Фонтанке близ Летнего сада.



Дом № 20 по набережной Фонтанки, где жили братья Тургеневы. *Фотография.*

Михайловский замок... Последнее убежище сумасбродного тирана Павла I. История этого замка была зловеща и романтична. Вечно терзаемый подозрениями и страхами, Павел нигде не чувствовал себя в безопасности. Поэтому и повелел он в самом центре Петербурга возвести замок-крепость, окруженный рвом. Проект начертил гениальный Василий Баженов, строил замок архитектор Винченцо Бренна. Но это угрюмо-величавое здание недолго служило убежищем Павлу. По странной иронии судьбы именно здесь, за неприступными стенами, был задушен тиран.

Тема тирана и народа... Пушкин думал о ней. Недавно, когда они с гусаром Кавериным проезжали ночью мимо Михайловского замка, Каверин тоже посоветовал написать о замке стихи. И теперь опять...

Ну что ж, он попробует.

Пушкин вскочил на длинный стол, что стоял у окна, растянулся на нем, взял перо и бумагу...

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Строки рождались как бы сами собой. Очевидно, они уже жили где-то в глубине его сознания и теперь лишь вырвались наружу. Это были уже не элегические вздохи. Гнев и возмущение водили его пером. Чем он дольше писал, тем сильнее воодушевлялся. Им овладел тот знакомый душевный подъем, та наивысшая сосредоточенность, которая и есть вдохновение. Он писал, писал...

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.

За каждой из этих строк — жизнь. Действительная жизнь Российской империи. Пушкин видел безжалостные лица господ, тиранящих своих крепостных, жадные руки власть имущих, тянущиеся за взятками, и всюду — сверху донизу — всеобщее попрание законов.



Набережная Фонтанки. Слева — Михайловский замок, справа — дом, где жили братья Тургеневы.
Фотография.

Россия задыхалась в «сгущенной мгле предрассуждений», то есть предрассудков и религиозных суеверий.

Эта «сгущенная мгла» проникала и сюда, в квартиру братьев Тургеневых.

Бывая здесь, Пушкин постоянно слышал заунывное церковное пение, доносившееся со двора. Дом, где жили Тургеневы, принадлежал любимцу царя, министру духовных дел и народного просвещения, князю Голицыну, Александр Иванович, служа под начальством Голицына, получил в этом доме квартиру.

Странное министерство, которое возглавлял Голицын, Карамзин метко назвал «министерством народного затмения».

«Затмевать» князь Голицын умел. «У князя Александра Нико-



лаевича, — рассказывал о нем Ф. Ф. Вигель, — была одна из тех камергерских пустопорожних голов, которые император Александр, наперекор природе и воспитанию, хотел непременно удобрить, вспахать, засеять деловыми государственными идеями. Это лужочки, которые весьма удобно покрываются цветами; но на неблагодарной почве их посади семена полезных овощей, и они почти всегда прорастут дурманом».

Александр I был не так наивен, как казалось Вигелю. Он прекрасно знал Голицына и знал, что тот, начальствуя одновременно над учеными и попами, заставит ученых подчиняться попам.

Министр просвещения был помешан на религии. В своем доме на Фонтанке он устроил настоящую церковь, богато украшенную и

мрачную, где все имело особый таинственный смысл. Отсюда и доносилось в квартиру Тургеневых церковное песнопение.

Рядом с церковью помещалась личная молельня Голицына. Она состояла из двух каморок с наглухо заложенными окнами. Сюда не проникало извне ни единого луча света, но было слышно все, что происходило в церкви. В первой каморке сурово глядели со стен темные лики угодников и святителей, слабо озаренные огнями нескольких лампад. Во второй каморке лампад не было. Там горело сделанное из красного стекла изображение человеческого сердца. В нем пылал неугасимый огонь. Оно казалось раскаленным и кровавым светом освещало подобие гроба, которое стояло тут же, у подножия огромного деревянного креста. Гроб, крест, кровавый свет— все было рассчитано на то, чтобы поразить воображение. Здесь с Голицыным, случалось, молился и царь.

Слабохарактерный, вечно колеблющийся, склонный к меланхолии, Александр I ударился в мистику, уповая на потусторонние силы. Пушкин только диву давался, сколько развелось при дворе разных святош и кликуш. С их нелегкой руки мистицизм как зараза расползался по Петербургу. В том же Михайловском замке, где был убит Павел, в квартире полковника Татаринова собиралась секта, которую возглавляла жена полковника — «пророчица» и «накатчица» Татаринова. В эту секту входил и Голицын. Ее членом состоял и Мартин Пилецкий — бывший лицейский надзиратель, иезуит и ханжа, которого Пушкин и его товарищи выгнали из Лицея.

Во втором Петербургском кадетском корпусе обосновался в качестве законоучителя монах-изувер Фотий. Он повсюду рассказывал о своих «видениях». То ему являлись бесы, с которыми он сражался и которые его жестоко истязали, приговаривая: «Сей есть наш враг! Схватим его и будем бить», — то другие чудеса. По рассказам Фотия, в течение нескольких месяцев сатана подсылал к нему злого духа, и тот подбивал иеромонаха совершить какое-нибудь чудо, например, перейти «по воде яко по суху против самого дворца через реку Неву».

Даже мальчишек из кадетского корпуса и тех посещали «видения». Об одном из таких «видений», что являлось кадету Волотскому в виде белой фигуры с деревянным крестом, брат царя Константин, шеф военно-учебных заведений, вел целую переписку с генералом Сипягиным.

В отличие от царя, Константин не верил в «видения». «Кадета отдать на руки лекарям», — распорядился он. Генерал Сипягин острил: «Исцелить его от этого, по мнению моему, вернейшего средства нет, как весьма обыкновенным видением ротного командира с розгами».



Архимандрит Фотий.
Гравюра с портрета работы Д. Доу. 20-е годы XIX в.

Крест и розги — они становились символом неправедной власти в Российской империи и во всей Европе. А народы повсюду жаждали вольности. И, воспевая вольность, Пушкин обращался к царям, призывая их не тиранствовать, а соблюдать законы. Иначе приговор истории будет жесток. Как ни силен тиран, его ждет судьба Наполеона, судьба Павла I. Михайловский замок помнит участь тирана.

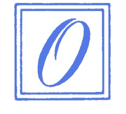
Ода «Вольность».
Черновой автограф с рисунком, изображающим Павла I.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает,
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —
И слышит Клии [1] страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы [2] последний час
Он видит живо пред очами...

Оду «Вольность», рассказывал Николай Тургенев, Пушкин «вполовине сочинил в моей комнате, ночью докончил и на другой день принес ко мне написанную на большом листе».

В ту декабрьскую ночь восемнадцатилетний Александр Пушкин вступил на опасный и благородный путь вольнолюбивого поэта.

„У беспокойного Никиты"



дин из молодых петербургских литераторов рассказывал в «Письме другу в Германию»: «Посещая свет в этой столице, хотя бы совсем немного, можно заметить, что большой раскол существует тут в высшем классе общества. Первые, которых можно назвать правоверными (погасильцами), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — еретики — защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей. Эти две партии находятся всегда в своего рода войне, — кажется, что видишь духа мрака в схватке с гением света».

Выйдя из Лицея, юный Пушкин, разумеется, примкнул к «еретикам»— вольнолюбивой молодежи, будущим декабристам. Он встречался с ними и у Николая Тургенева, и в других местах. Позднее он вспоминал:

У них свои бывали сходки
. . . .
Витийством резким знамениты,

---

[1] Клия, Клио — в древнегреческой мифологии муза истории.

[2] Калигула — римский император, сумасбродный деспот, который был убит заговорщиками. Калигулой Пушкин называет здесь Павла I.

Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

«Беспокойный Никита» — Никита Михайлович Муравьев — жил недалеко от Тургеневых, на другом берегу Фонтанки, в доме своей матери Екатерины Федоровны. Она приобрела этот трехэтажный дом в 1814 году, когда из Москвы переехала в Петербург.

В доме Екатерины Федоровны постоянно бывали многочисленные гости: родственники, свойственники, знакомые. Сюда частенько захаживали Жуковский, Александр Иванович Тургенев, переводчик «Илиады» поэт Гнедич. Здесь подолгу живал Батюшков: он приходился Муравьевым сродни.

Здесь у Никиты Муравьева собирались его друзья. Сюда приходил и Пушкин.



Дом № 25 на набережной Фонтанки, принадлежавший Е. Ф. Муравьевой. *Фотография.*



Н. М. Муравьев.
Миниатюра П. Соколова. 1824 г.

С «беспокойным Никитой» Пушкин познакомился в лицейские годы. Среди гостей, наезжавших в Царскосельский лицей в 1814 году, значится прапорщик Муравьев. А еще раньше до Царского Села докатилась весть о патриотическом поступке юного Муравьева.

В августе 1812 года, когда пал Смоленск и французы двигались к Москве, в одну подмосковную деревню зашел по-господски одетый юноша. Он попросил поесть. Его накормили — дали ломоть хлеба и кружку молока. Поев, он выложил на стол золотой и хотел было уйти, но его задержали. Необычайная щедрость показалась подозрительной. Уж не французский ли это шпион? При обыске у юноши

нашли военные карты и список маршалов Наполеона. Тогда его связали и препроводили в Москву.

И только там выяснилось, что «шпион» не кто иной, как сын покойного сенатора Муравьева — шестнадцатилетний Никита. Тайком от матери (она не отпускала его) он убежал из дому, чтобы вступить в действующую армию.

После этого случая мать отпустила Никиту. А рассказ о его поступке передавали из уст в уста.

Никита Муравьев сражался при Дрездене и Лейпциге, брал Гамбург, побывал в Париже.

Возвратившись на родину с русскими войсками, он «с новым удовольствием увидел Петербург».

В Петербурге нашел друзей — таких же, как и он, молодых офицеров. Все они участвовали в недавней войне, все были очень молоды, но великие события и военные тяготы превратили их в зрелых, решительных людей.

Они побывали в Европе, многое повидали и теперь новыми глазами огляделись вокруг. Самодержавие, крепостническое рабство стали им еще нестерпимее. Они начали собираться. Большей частью у Муравьевых.

Бывая на их сходках, Пушкин не однажды слышал, что Россия стоит на краю пропасти и что в пропасть ее толкают царь и граф Аракчеев.

Аракчеев... Это имя повторяли повсюду. Повторяли с возмущением, ненавистью, подобострастием, трепетом.

Безвестного артиллерийского офицера Аракчеева возвысил еще Павел. Оценил его «достоинства». Да и как было не оценить, когда Аракчеев так усердствовал, что рвал провинившимся солдатам усы. Павел дал ему чин генерала, титул графа. Новоиспеченный граф выбрал себе девиз: «Без лести предан».

По отзывам современников это был ограниченный, малограмотный человек, но с дикой энергией, упрямый и жестокий, который свои злодейства прикрывал беззаветной преданностью царю.

И Александр ценил его, считал необходимым человеком.

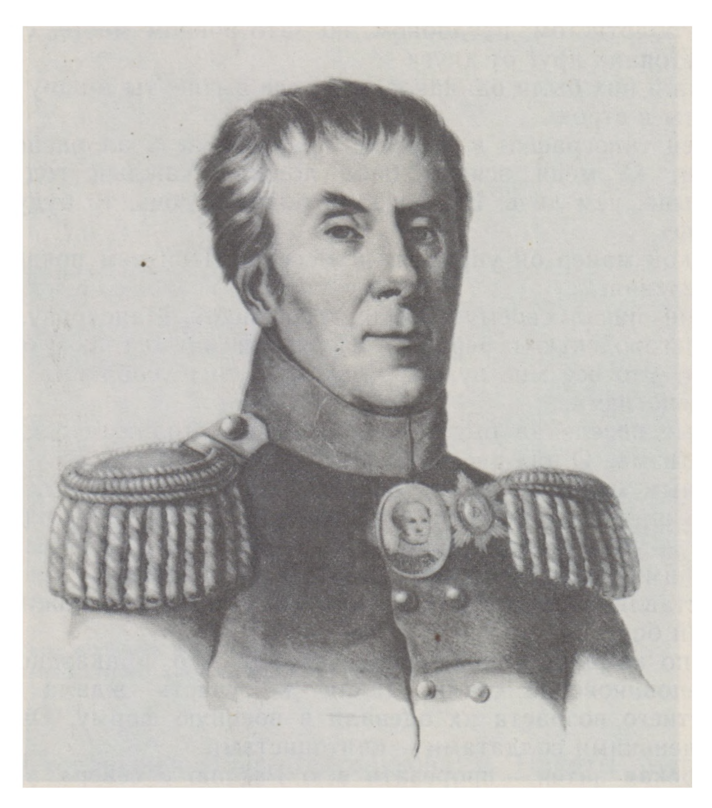
Отправляясь за границу в свои многочисленные поездки, царь всенародно объявлял: указы, издаваемые генералом от артиллерии Аракчеевым, «высочайше повелеваем считать именными нашими указами».

С четырех часов ночи к дому на углу Кирочной улицы и Литейного проспекта подъезжали кареты.

— Его высокопревосходительство принимает?

— Так точно.

— Извольте доложить.



А. А. Аракчеев.
Литография Г. Гиппиуса. 1822 г.

На прием к Аракчееву торопились министры, сенаторы, генералы, члены Государственного совета.

Если адъютант докладывал и Аракчеев молчал, это значило — подождать. Второй доклад — и снова молчание. И только после того, как приехавший восчувствовал, сколь затруднительно попасть на прием, раздавался звук колокольчика. Аркачеев звонил и приказывал адъютанту: позвать такого-то!

Аракчеев фактически управлял всей страной.

Он любил порядок и понимал его по-своему. В своем имении Грузино велел сломать все деревни и построить их заново. Конечно, за счет крестьян. Старые стояли на горушках, у рек, у леса. Новые

хотя и на болотистом, неудобном, но зато ровном месте. На одинаковом расстоянии друг от друга.

И дома в них были одинаковые. И все вытянуты в одну линию — как солдаты в строю.

В своей типографии в Грузине Аракчеев печатал распоряжения крестьянам: «У меня всякая баба должна каждый год рожать, и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф».

На такой манер он управлял и Россией. При нем появились военные поселения.

Пушкин писал своему приятелю офицеру Мансурову, посланному в Новгородскую губернию: «Поговори мне о себе — о военных поселениях. Это все мне нужно — потому, что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм».

Военные поселения были геркулесовыми столпами самодержавного деспотизма. О них рассказывали ужасы.

Казенным мужикам целых волостей обривали бороды, надевали солдатские шинели и, обрекая на двойные тяготы — как крестьян и как солдат, — расписывали по полкам.

Дома, имущество — ничего им не принадлежало. Их муштровали и заставляли работать в поле. Они вставали и ложились под барабанный бой.

Бабы по команде топили печи, варили что приказано. За малейшее неповиновение секли. Такая же участь ждала и детей. С шестилетнего возраста их одевали в военную форму. Они становились маленькими солдатами — кантонистами.

Изуверская затея — прорезать всю Россию с севера на юг полосой военных поселений — принадлежала царю. Выполнял ее Аракчеев.

Он твердо запомнил слова царя, что если даже придется уложить трупами всю дорогу от Петербурга до Чудова — больше ста верст, — военные поселения все равно будут введены. А трупов хватало.

Испугавшись военных поселений, крестьяне бунтовали. И граф Аракчеев шел на них войной — вел артиллерию, кавалерию. Бунтовщиков расстреливали, рубили, прогоняли сквозь строй.

«Известия о новгородских происшествиях привели всех в ужас», — вспоминал декабрист Иван Якушкин.

У Муравьева обсуждали все в подробностях. Поручик Илья Долгоруков — «осторожный Илья» — состоял адъютантом при самом «змее» Аракчееве. Он, по словам Якушкина, «имел возможность знать многие тайные распоряжения правительства и извещать о них своих товарищей».

Новгородские военные поселения.
Рисунок неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

Для товарищей Ильи Долгорукова и Никиты Муравьева это было небезразлично. Ибо все они состояли членами Тайного общества. Не имея возможности бороться со злом явно, они решили бороться тайно. Основали сперва Союз Спасения, потом Союз Благоденствия.

„Читал свои Ноэли Пушкин"

елью Тайного общества было спасти Россию. Но как? Об этом много говорилось на сходках у Муравьева.

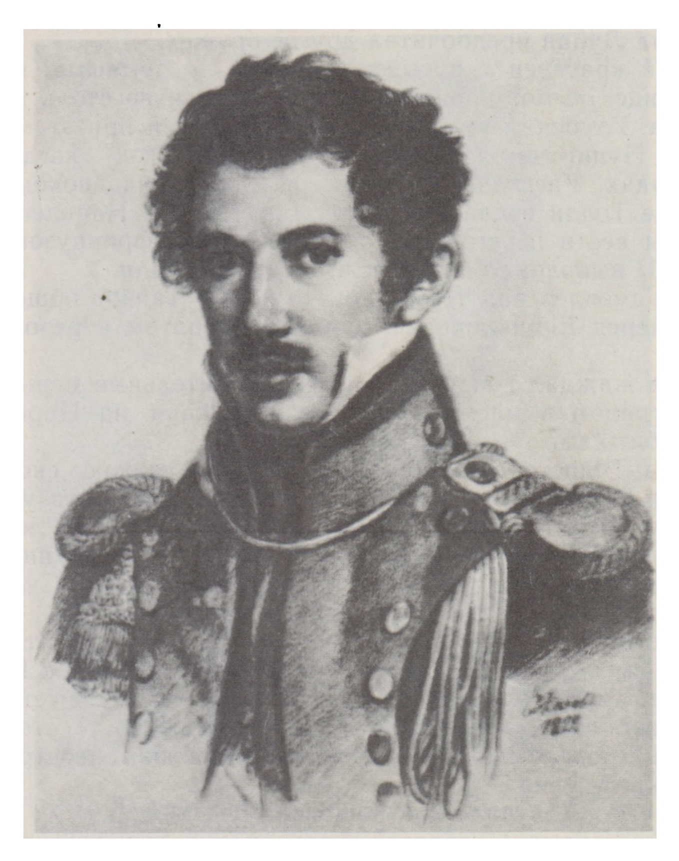
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,



«Читал свои Ноэли Пушкин...»
Рисунок Н. Кузьмина к X главе романа «Евгений Онегин».

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

У Пушкина навсегда остались в памяти многолюдные собрания, где в колеблющемся свете свечей смешивались яркими пятнами



М. С. Лунин.
Литография А. Скино по рисунку П. Соколова. 1822 г.

цветные мундиры офицеров, а среди них кое-где проглядывали черные фраки штатских. Было накурено, шумно. Кто-то стоя ораторствовал, кто-то возражал. Иные слушали и курили. Иные в волнении ходили по комнате...

Описывая эти собрания, Пушкин выделил троих: двоюродного брата «беспокойного Никиты» Михаила Лунина, подпоручика Семеновского полка Ивана Якушкина и Николая Тургенева.

Не видя иных путей осуществить свою заветную цель — добиться уничтожения в России рабства, Николай Тургенев вступил в Тайное общество. Он действовал красноречием, словом.

Михаил Лунин предпочитал другое оружие.

Рослый красавец с русыми волосами и темными глазами на бледном лице, он мог поразить воображение и не столь пылкое, как у Пушкина. Глубокий ум, обширные познания и при этом отчаянная храбрость. Лунин не раз ее доказывал в 1812 году, когда служил в кавалергардах. Рассказывали, что он просил главнокомандующего Барклая де Толли послать его парламентером к Наполеону. Не для того, чтобы вести переговоры с императором французов, а чтобы убить его. И выполнил бы это, если бы его послали.

Лунин смеялся над теми, кто, вступив в Тайное общество, собирался «наперед Енциклопедию написать, а потом к революции приступать».

Сам он жаждал действий, был за «решительные меры». Он предлагал с отрядом в масках подкараулить царя на Царскосельской дороге и убить его.

Членам Тайного общества хотелось как можно скорее осуществить свои планы. Момент смены царей был для этого удобен.

К тому же в Александре изверились. Разыгрывая либерала, он клялся в парижском салоне известной французской писательницы госпожи де Сталь, что уничтожит в России рабство. Сулил и конституцию. А дал аракчеевщину, военные поселения.

Россию и русских царь явно презирал. Чего только стоило его поведение на смотре при Вертю! Когда английский герцог Веллингтон, глядя на выправку, чеканный шаг русских войск, заметил: «Я никогда не воображал, что можно довести армию до такого совершенства», царь громко сказал ему: «Этим я обязан иностранцам, которые служат у меня».

Слова его прозвучали как пощечина русским.

После разгрома Наполеона Александр кроме русского занял и польский престол. И вот осенью 1817 года пошли упорные слухи, что царь собирается отдать Польше исконные русские земли на Украине и в Белоруссии. Тогда-то и вызвался «меланхолический Якушкин» убить царя. Он сам рассказал, как это было: «Я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят... что Россия не может быть более несчастна как оставаясь под управлением царствующего императора: все стали меня уверять, что... несомненно. В таком случае, сказал я, тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанести удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я



И. Д. Якушкин.
Рисунок О. Кипренского. 1818 г.

решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести». Якушкин собирался взять два пистолета: из одного застрелить царя, из другого себя, чтобы было похоже на дуэль со смертельным исходом.

Описывая сходки молодых вольнолюбцев, Пушкин помянул и себя: «Читал свои Ноэли Пушкин...»

Ноэли — остроумные и злободневные политические песенки — родились во Франции. Они писались к рождеству. Изображалось в них рождение Христа и поклонение ему волхвов. Но изображалось необычно. Соль была в том, что вместо волхвов к младенцу Иисусу являлись совсем другие лица — современники автора ноэля, те, кого хотел он высмеять.

По рассказам очевидцев, да и по собственному свидетельству Пушкина, известно, что написал он несколько ноэлей. Но сохранился лишь один —«Сказки». Пушкин приурочил его к рождеству 1818 года.

Как раз в это время в Россию из очередной поездки за границу возвратился царь. Он ездил на конгресс в немецкий город Аахен и там вместе с прусским и австрийским правительствами заявил о своей готовности бороться с революциями — «увлечениями» народов. Подтвердил свою роль буки-пугала, устрашителя Европы.

И вот когда Александра торжественно встречали в Зимнем дворце, на сходках молодых вольнодумцев звучал задорный ноэль, где изображался приезд царя. И, как полагается в ноэле, визит к младенцу Христу-спасителю и его матери Марии:

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен».

Но почему ноэль назван «Сказки»?

Чтобы это понять, надо вернуться несколько назад, к весне 1818 года. В марте этого года царь ездил в Польшу. Нарядившись в польский военный мундир, он открывал в Варшаве первое заседание парламента — сейма — и произнес там речь. В речи обещал, что даст России конституцию, как дал уже Польше.

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли...

Так обещает царь в ноэле.

И многие в России ему поверили. Ведь царь не уставал обещать. После конгресса в Аахене иностранные газеты сообщили, что в беседе с французским генералом Мезоном царь заявил: все народы должны освободиться от самовластия, и то, что он сделал в Польше, он хочет

1.

Ура! въ Росію скачетъ
Кочующій деспотъ!
Спаситель горько плачетъ;
А съ нимъ и весь народъ!
Марія въ хлопотахъ спасителя качаетъ:
„Не плачь, дитя! не плачь, сударь!
Вотъ бука, бука, Руской царь!“
Царь входитъ и вѣщаетъ!

2.

Узнай, народъ Россійской,
Что знаетъ цѣлый міръ:
И Прускій и Австрійской
Я сшилъ себѣ мундиръ!
О! радуйся, народъ! я сытъ, здоровъ и тученъ;
Меня газетчикъ прославилъ;
Я пилъ, и ѣлъ, и обѣщалъ,
И дѣломъ не замученъ!

3.

Узнай къ тому въ добавку,
Что сдѣлаю потомъ:
Лаврову дамъ отставку;
А Соца — въ желтый домъ!
Законъ поставлю вамъ намѣсто я Горголи;
А людямъ всѣмъ права людей,
По царской милости моей,
Даю изъ доброй воли!

Ноэль «Сказки».
Список.

сделать и в других своих владениях. Царь даже дал честное слово, что таковы его искренние чувства и что генерал может ему верить, потому что он, Александр, честный человек.

Наивные верили. А такой выдающийся ум, как генерал Ермолов, был убежден, что все «останется при одних обещаниях всеобъемлющих перемен». Он не верил царю. Не верил царю и Пушкин.

И в ноэле более опытная дева Мария дает понять неопытному младенцу Христу, чего стоят обещания царя и что особенно радоваться нечему:

От радости в постеле
Расплакался дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки,
Уснуть уж время наконец,
Ну, слушай же, как царь-отец
Рассказывает сказки».

Потому ноэль и был назван «Сказки».

Вскоре весь Петербург знал ноэль наизусть. Эти стихи ходили по городу в многочисленных списках, и, как рассказывает Якушкин, их распевали повсюду, «чуть не на улицах».

В лице юного Пушкина правительство приобретало врага. Тем более опасного, что он был необычайно талантлив.

Субботы на Крюковом канале

Пушкин писал стихи по утрам. Просыпался он поздно. Домой возвращался обычно заполночь, когда тихая Коломна давно уже спала.

И вот, проснувшись поутру, лежа в постели в полосатом бухарском халате, он задумчиво покусывал перо, и на гладкий белый лист ложились строка за строкой.

Он любил писать на хорошей бумаге, и этот большой альбом, в котором он писал, ему нравился. Альбом был с замком. Ключ можно было носить при себе на цепочке часов.

Послания, эпиграммы Пушкин писал от случая к случаю, но почти каждое утро трудился над поэмой.

Мысль о сказочной поэме родилась еще в Лицее. Он начал и не докончил писать «Бову». А когда в летние месяцы 1816 года, забегая после классов в «кавалерский домик» к Карамзину, слушал его «Историю», задумал еще поэму. Тогда-то и появились на стене одной лицейской комнаты стихи о пире князя Владимира, о том, как выдавал он замуж меньшую дочь Людмилу.

Стихи эти Пушкин написал «в заточении». За какую-то шалость



А. С. Пушкин.
Автопортрет. 1826 г.

его посадили в эту комнату. Когда же гувернер его выпускал, то услышал, что «узнику» было очень весело, — он писал стихи.

Теперь в Петербурге поэма «Руслан и Людмила» стала главным трудом его. Никогда еще не работал он так усердно и упорно. Исправлял без конца. Ведь поэма — дебют. От нее зависит многое.

А «Руслана» ждали. В Варшаву к Вяземскому летели известия. «Пушкин пишет прелестную поэму и зреет», —сообщал Батюшков. Пушкин уже «на четвертой песне своей поэмы, которая будет иметь всего шесть», — уведомлял Александр Иванович Тургенев.

Поэмой интересовались, о ней толковали. Кто хотел ее послушать, ходили по субботам к Жуковскому.

Жуковский жил тоже в Коломне, у Кашина моста, на углу Екатерингофского проспекта и Крюкова канала, в доме купца Брагина.

Жуковский был одинок и тяготился этим, а потому поселился с семейством своего вдового приятеля Плещеева. И вот по субботам в их общей квартире собиралось большое общество. Сюда спешили те, кто любил литературу.

У Жуковского бывали писатели знаменитые и начинающие. Приходил Крылов — неряшливо одетый, большой, толстый. Приходил одноглазый Гнедич, всегда одетый по моде, чопорный, торжественный. Являлись Дельвиг, Кюхельбекер, Пушкин, их общий приятель молодой педагог и литератор Плетнев.

Жуковский ласково встречал и приветствовал каждого. Его спокойная веселость передавалась другим. Дам сюда не приглашали, и это тоже способствовало свободе и непринужденности. Даже обычно помалкивающий Иван Андреевич Крылов здесь становился раз-



Дом № 11 на Крюковом канале, где жил В. А. Жуковский.
Фотография.



Н. И. Гнедич.
Гравюра. 20-е годы XIX в.

говорчив, умно и тонко шутил, стараясь сделать приятное гостеприимному хозяину.

Однажды он что-то искал в бумагах на письменном столе Жуковского. Его спросили:

— Что вам надобно, Иван Андреевич?

— Да вот какое обстоятельство, — ответил он, — хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист, а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством.

Когда Пушкин доставал свою заветную тетрадь с новой песней «Руслана», разговоры тотчас смолкали. Он читал, все слушали. Слушали и поражались: ново, смело, свежо. А стихи такие легкие, будто родились сами собой, будто не было долгих часов труда, сомнений, раздумий, досадливо обкусанных гусиных перьев.



В. А. Жуковский.
Гравюра Ф. Вендрамини по рисунку О. Кипренского. 1817 г.

В четвертой песне поэмы Жуковского ждал сюрприз. Пушкин писал о нем:

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

«Северный Орфей» — Жуковский — был польщен и растроган. Название певца чертей, верного жителя могил его нисколько не обидело.

Он сам называл себя «поэтическим дядькой всех ведьм и чер-



И. А. Крылов.
Рисунок О. Кипренского. 10-е годы XIX в

тей на Руси», — ведь это он познакомил русскую публику со «страшными» романтическими балладами.

Но в какой «прелестной лжи» собирается обличить его этот юный повеса?

А Пушкин как ни в чем не бывало продолжал:

Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей;
Как после щедрым подаяньем,
Молитвой, верой, и постом,
И непритворным покаяньем
Снискал заступника в святом;
Как умер он и как заснули
Его двенадцать дочерей:
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных сих ночей
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев,

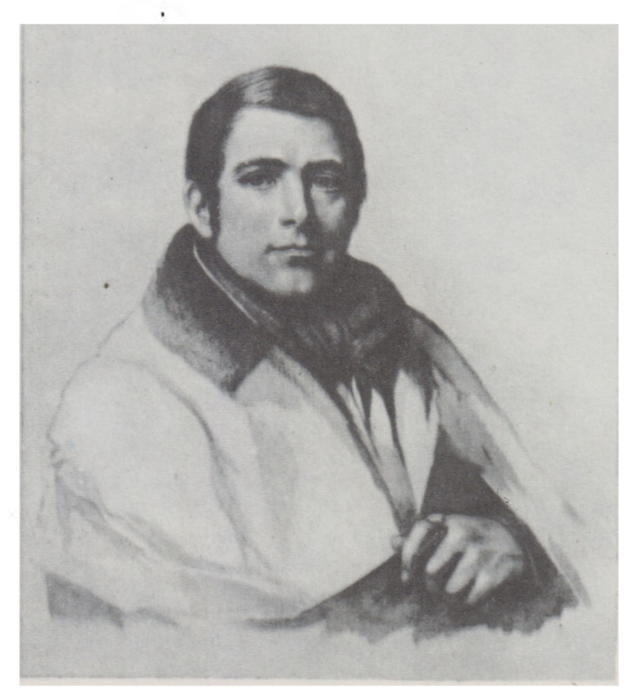
Живые грешника мученья
И прелесть непорочных дев,
Мы с ними плакали, бродили
Вокруг зубчатых замка стен,
И сердцем тронутым любили
Их тихий сон, их тихий плен;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зрели их,
И часто инокинь святых
На гроб отцовский провожали.
И что ж, возможно ль?.. нам солгали!

Ах, вот оно что! Этот злодей решил написать пародию на его, Жуковского, поэму «Двенадцать спящих дев», содержание которой он так хитро пересказал. Ну что ж, пусть попробует.

И Пушкин попробовал. Показал в «Руслане и Людмиле» двенадцать дев совсем по-другому, чем Жуковский. Оказывается, они вовсе не были «святыми инокинями» — монахинями. Наоборот.



Крюков канал.
Литография К. Беггрова по рисунку К. Сабата. 20-е годы XIX в.

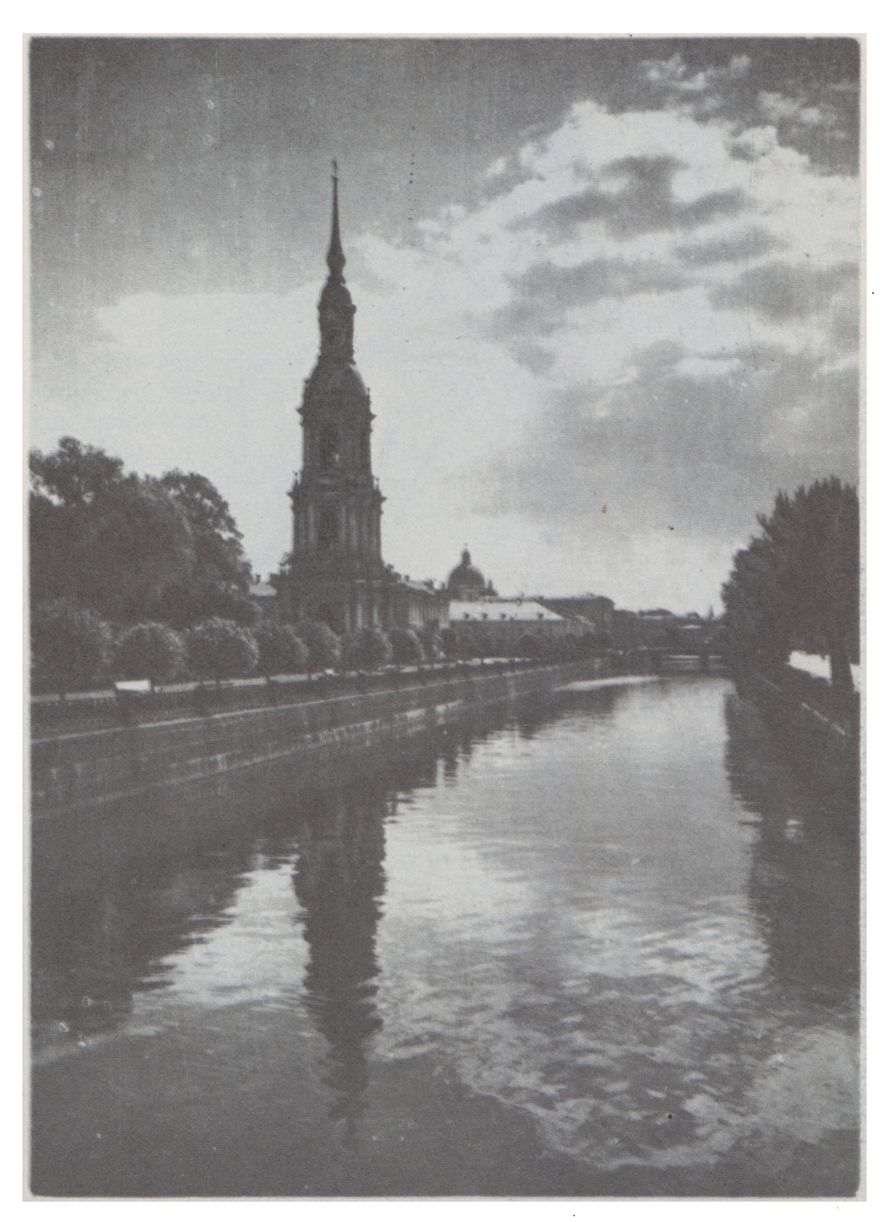


П. А. Плетнев.
Акварель неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

В своем замке с зубчатыми стенами девы не чуждались земных радостей. В этом убедился соперник Руслана молодой хан Ратмир.

Жуковский слушал Пушкина, смотрел на его раскрасневшееся юное лицо, на его смеющиеся глаза, и ему вспоминалась их первая встреча. Он приехал тогда в Лицей, чтобы познакомиться с чудо-мальчиком, стихи которого знал, о котором так много был наслышан. И когда кудрявый лицеист вбежал в приемный зал, кинулся к нему и крепко сжал его руки, Жуковский почувствовал, что уже любит его. Он стал ездить в Лицей, и они подружились. Разница в шестнадцать лет не служила помехой. А теперь они на «ты». Как товарищи. Чуть не каждое утро Пушкин прибегает к нему свежий, бодрый и со смехом рассказывает, что он всю ночь не спал.

Они вместе ездят за город — в Петергоф, в Царское Село. Как-то летней ночью Пушкин явился в Павловск вместе с Александром Ивановичем Тургеневым. Что он тогда вытворял! Представлял



На Крюковом канале в белую ночь.
Фотография.

обезьяну, разыгрывал «собачью комедию». Они хохотали до утра. Что только не лезет из этой головы! Просто удивительно, как уживаются в нем простодушие ребенка и глубокий ум мудреца.

Жуковский радовался, зная, что Пушкин ценит его дружбу.

Пушкин ценил его. Очень. За прекрасную душу, за поэтический дар. Как-то, увидев у Тургеневых новый портрет Жуковского, Пушкин долго рассматривал его, а потом написал внизу:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Да, пленительным стихам Орфея — Жуковского суждена долгая жизнь. Но не все в этих стихах было по сердцу Пушкину. И особенно смирение. Воспевая жалобы страдающего человеческого сердца, Жуковский звал к смирению, уходил от жизни в таинственный фантастический мир, уповая на счастье в небесах. Пушкин весь был на земле. И восставал против горестей. Боролся за счастье. Земное, не небесное. Его воспевал. Потому-то и вернул он на землю «Двенадцать спящих дев». И творца бы их вернул, если б только мог...

Пушкин покидал гостеприимную квартиру на Крюковом канале, когда в мирной Коломне уже давно были погашены последние огни и только ветер гулял по пустынным улицам.

Пушкин шел не один. Молодой педагог Плетнев тоже жил на Фонтанке за Обуховым мостом, в Военно-Сиротском доме, где преподавал. Они дружно шагали, зябко кутаясь в плащи, и, дойдя до Фонтанки, расходились. Пушкин шел направо, Плетнев — налево. Но нередко оба сворачивали в одну и ту же сторону и провожали один другого, не желая прерывать увлекательную беседу. И длинные петербургские улицы им казались короткими.

„С Карамзиным, с Карамзиной“

Новый, 1818 год начался для Пушкина несчастливо. В феврале он заболел. Горячка надолго уложила его в постель.

В те времена «горячкой» называли всякую длительную болезнь с высокой температурой. Лекари различали горячку нервную, желчную и гнилую. У Пушкина определили чуть ли не самую опасную — гнилую.

В доме царила тревожная тишина. Все ходили на цыпочках, с озабоченными лицами. Шутка сказать — сам известный Лейтон ни за что не ручался.

Но больной был молод, крепок. Даже ванны со льдом, которыми Лейтон его пользовал, не причинили вреда. Прохворав шесть недель, Пушкин выздоровел.

«Сия болезнь, — вспоминал позднее Пушкин, — оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто: их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления —одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всей поэтическою своею прелестию. Это было в феврале 1818 года».

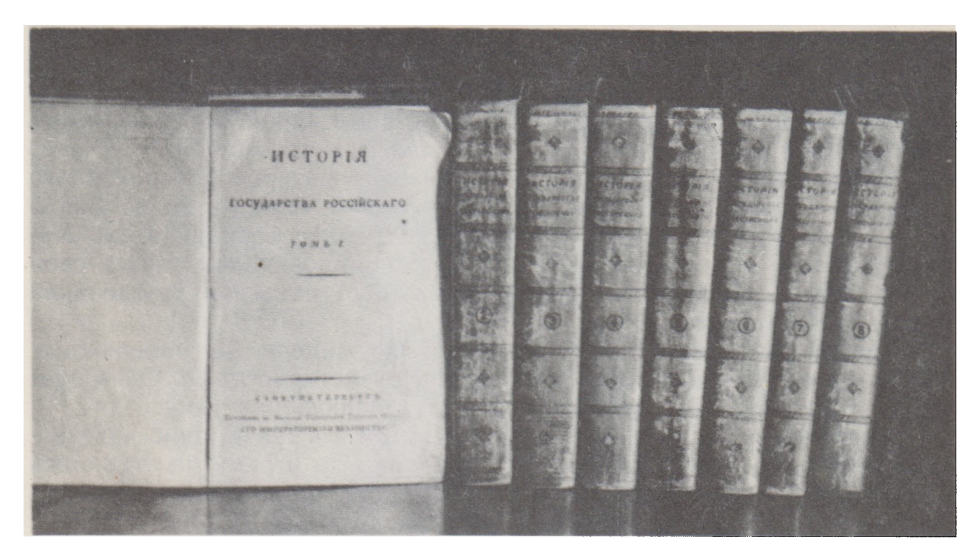
Болезнь скрашивало и чтение. Лежа в постели, Пушкин один за другим прочитал восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина.

Прочитал со вниманием и жадностью. Книга только что вышла, и ее тотчас же раскупили. Появление «Истории» было большим событием. «Все, даже светские женщины, — рассказывал Пушкин, — бросились читать историю своего отечества, дотоле им не известную... Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом».

Говорили, что в эти дни Невский проспект опустел, — все сидели дома и читали Карамзина.

Восемь томов «Истории» Карамзин писал тринадцать лет и дошел лишь до времен Ивана Грозного. Зато Древняя Русь ожила под его пером.

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там — в дыму столетий!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой!
От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной...
И в нем трепещет вдохновенье!



«История государства Российского» Н. М. Карамзина, тома I—VIII первого издания.

Таково было первое впечатление от «Истории».

Карамзин... Пушкин с детства привык, что имя знаменитого автора «Бедной Лизы» произносилось в их доме восторженно-почтительно. А когда Карамзин появлялся, ему внимали как оракулу.

Карамзин запомнился таким, как он описан у Жуковского:

С подъятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым уберроком [1]
И в пыльных сапогах,
Казался он пророком...

Настоящее знакомство состоялось в Царском Селе, и теперь в Петербурге оно продолжалось. Пушкин часто и запросто приходил к Карамзиным, назначал у них свидания Жуковскому:

Скажи — не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной? —
На всякий случай — ожидаю,
Тронися просьбою моей...

---

[1] Уберрок — то же, что сюртук (*нем.*).

Карамзины жили сначала на Захарьевской улице в доме Баженовой, а в 1818 году перебрались на Фонтанку. «Ищите нас мыслями в Петербурге не в Захарьевской улице, а на Фонтанке, в доме Екатерины Федоровны Муравьевой, где мы с вами жили. Там могу иметь уже большой кабинет», — писал Карамзин Вяземскому.

С Екатериной Федоровной Муравьевой — матерью «беспокойного Никиты» — Карамзиных связывало давнишнее знакомство по Москве, и когда в ее доме на Фонтанке освободился верхний этаж, Карамзины там и поселились. Николай Михайлович так писал свой новый адрес: «Дом Катерины Федоровны Муравьевой у Аничкова моста, на Фонтанке».

Теперь жители Петербурга постоянно видели на набережных Фонтанки и Невы высокую прямую фигуру историографа. Он в одиночестве каждодневно совершал свою утреннюю прогулку.

Карамзины жили замкнуто. Коренные москвичи, они чувствовали себя одиноко в чуждом им Петербурге, да и сами не старались сблизиться с людьми. «Мы в Петербурге как на станции, — сетовал Карамзин, — кланяемся многим, а сидим дома одни, пока появится добрый Тургенев или Жуковский. Однако ж мы не вправе жаловаться: сами не льнем к людям».

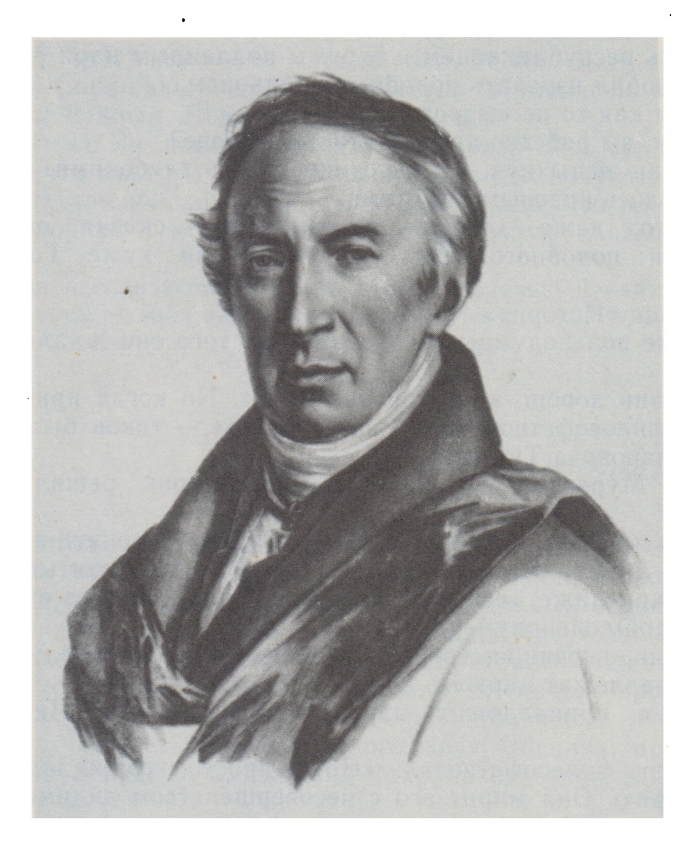
Вечером, когда историограф заканчивал свои труды, в его квартире собирались немногочисленные друзья. Приглашая к себе, Карамзин говорил:

— В десять часов вечера я пью чай в кругу моего семейства. Это время моего отдыха. Милости просим...

Пушкин любил бывать у Карамзиных. Когда он входил в большую уютную комнату, где, сидя у самовара за круглым столом, Екатерина Андреевна разливала чай, его охватывало ощущение покоя и домовитости, которого он никогда не испытывал в родном доме.

Екатерина Андреевна была очень красива. В молодости она напоминала Мадонну. Вторая жена Карамзина, она была много моложе мужа. Увидев ее впервые в Царском Селе, Пушкин влюбился и со свойственной ему непосредственностью написал ей письмо с объяснением в любви. Екатерина Андреевна показала письмо мужу, и они оба смеялись, а потом вместе отчитывали незадачливого влюбленного.

Полудетское увлечение прошло, а уважение, привязанность остались. И всякий раз, когда он приходил к Карамзиным, ему было необыкновенно приятно видеть Екатерину Андреевну, следить, как она неторопливо, плавными движениями разливала чай детям, как улыбалась ему. Дети сидели тут же вокруг стола и с лукавым любопытством поглядывали на молодого гостя, ожидая проказ и шуток. Они подружились с Пушкиным еще в Царском Селе.



Н. М. Карамзин.
Литография Г. Гиппиуса. 1822 г.

Николай Михайлович слегка кивал. Он сидел поодаль, окруженный друзьями.

Еще совсем недавно он радовался Пушкину, но с некоторых пор — он сам это чувствовал — в его отношении к юноше появился холодок. «Талант действительно прекрасный, жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове — ни малейшего благоразумия».

Пушкин раздражал его. Все в нем было через край: ум, талант, веселость, безрассудство. И при этом вольномыслие. Самое площадное. Ничего «площадного» Карамзин не одобрял.

Они часто спорили.

— Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувст

вам останусь республиканцем и верным подданным царя русского. — Карамзин любил изрекать подобные парадоксы.

Пушкин как-то не выдержал.

— Итак, вы рабство предпочитаете свободе?

Карамзин вспыхнул. Сухое лицо его с глубокими складками у губ покрылось красными пятнами.

— Никто, даже злейшие враги мои, — сказал он тихо, — не говорили подобного. Вы мой клеветник хуже Голенищева-Кутузова.

А тут еще «История»...

Молодые вольнодумцы негодовали. Не того они ждали от труда Карамзина.

«Карамзин хорош, когда он описывает. Но когда примется рассуждать и философствовать, то несет вздор», — таков был приговор Николая Ивановича Тургенева.

Никита Муравьев, сам талантливый историк, решил дать бой Карамзину.

И вот в третьем этаже дома на Фонтанке, склонившись над летописями и документами, продолжал свой труд маститый историограф, а этажом ниже, весь кипя от негодования, обличал его заблуждения молодой вольнодумец.

Карамзин, посвящая свой труд Александру I, писал: «История народа принадлежит царю».

«История принадлежит народам», — парировал Никита Муравьев.

Карамзин философствовал: «Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенными явлениями во всех веках: утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще и ужаснейшие и государство не разрушалось».

Это место особенно возмутило Муравьева. Что же получается? Если в древности были Нерон и Калигула, значит, терпим и Аракчеев? И выходит, что зверства Ивана Грозного должны примирить с ужасами военных поселений! И Карамзин еще объявляет себя «беспристрастным» историком! Хороша беспристрастность, когда на каждой странице говорится о полезности для России самодержавия, о любви к притеснителям и «заклепам»...

Вскоре по Петербургу пошла эпиграмма:

В его Истории изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

На кого эпиграмма — не спрашивали. И так было ясно, что на Карамзина. Спрашивали другое: кто автор? Пушкин помалкивал, но мнение было единым. Льва узнали по когтям.

Эпиграмма ли послужила причиной разрыва, или прорвалось наружу то, что таил в душе Карамзин, но он дал почувствовать Пушкину, что их дружба кончилась. «Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему привязанность».

Пушкин всегда вспоминал об этом с горечью и считал, что Карамзин поступил с ним несправедливо, жестоко.

В гостях у тысячеискусника

На той же стороне реки Фонтанки, где и дом Муравьевых, но гораздо дальше от Невского, между Семеновским и Обуховским мостами, стоит трехэтажный особняк, построенный в конце XVIII века. Большой треугольный фронтон, колонны у входа, поддерживающие балкон второго этажа... Особняк до сих пор сохранил свой старинный облик. В начале прошлого века принадлежал он директору Публичной библиотеки и президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину, достался ему в приданое за женою Елизаветой Марковной, урожденной Полторацкой.

Фамилия Полторацких появилась в Петербурге в царствование Елизаветы Петровны. Тогда был привезен в столицу молодой украинец, обладающий прекрасным голосом, — Марк Федорович Полторацкий. Он сделал карьеру — стал первым директором придворной певческой капеллы, получил дворянство. Елизавета, а затем и Екатерина II к нему благоволили. Одаривали поместьями, тысячами крепостных душ, земельными участками в столице.

У Марка Полторацкого было много детей. Трем дочерям достались в приданое участки на Фонтанке.

Еще с петровских времен на поросших берегах Фонтанки охотно строились вельможи. Здесь возводили они загородные дома. Тогда это было за городом. Полиция обязывала владельцев таких домов вырубать вокруг леса, чтобы лишать укрытия разбойников. От непосильных тягот, от каторжного труда в строящемся Петербурге в этих лесах скрывалось немало «работных людей».

В царствование Екатерины II на расчищенных уже берегах



Дом № 101 по набережной Фонтанки, принадлежавший Олениным. - *Фотография*

Фонтанки выросло множество пышных зданий — дворцов и особняков. Здесь возвели дворцы князь Юсупов и граф Шереметев, Гаврила Романович Державин купил и заново перестроил для себя отличный особняк. Здесь же, на огромном участке, принадлежавшем Полторацкому, появилось три совершенно одинаковых дома. Один из них вскоре стал известен как дом Оленина.



Дворец Шереметевых на набережной Фонтанки.
Фотография.

Александр I называл директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств «тысячеискусником». Действительно, этот маленький человек с некрасивым умным лицом и оттопыренными ушами обладал всевозможными талантами. Ловкий царедворец, умевший со всеми ладить, преуспевающий сановник, Оленин был в то же время одним из основателей русской археологии, неплохим рисовальщиком, знатоком и любителем искусства. Его дом на Фонтанке украшали картины, статуи, античные слепки, этрусские вазы.



А. Н. Оленин.
Рисунок О. Кипренского. 1813 г.

Это было жилище просвещенного русского барина, где «приятности европейской жизни» сочетались с чертами патриархального крепостнического быта.

Кроме хозяев, их детей дом населяли приживалки, бедные родственницы, воспитанницы, гувернеры, гувернантки, многочисленная дворня. За изобилие обитателей и их разнородность арзамасец Вигель называл дом Олениных «Ноев ковчег». Для полноты картины следует добавить, что в «Ковчеге» жил даже индус, которого Оленин подобрал полузамерзшим где-то на Фонтанке.

В «Ковчеге» любили гостей, особенно знаменитых. Хозяин-меценат покровительствовал талантам.

Здесь дневали и ночевали Крылов и Гнедич. Оба служили в Публичной библиотеке под начальством Оленина. Крылов, одинокий холостяк, стал как бы здешним домочадцем.

По вечерам у Олениных собирались писатели, художники, артисты. Привозили литературные новости, известия о только что появившихся картинах и спектаклях.

В отличие от большинства богатых петербургских домов, здесь не в чести были карты. Зато процветали игры, особенно шарады, в

которых обычно участвовали литературные знаменитости. Пушкин охотно посещал этот дом.

Однажды, придя к Олениным, Пушкин заметил среди гостей молоденькую незнакомку. Она выделялась не только красотой. Что-то очень привлекательное было во всем ее облике.

От хозяйки дома, добрейшей Елизаветы Марковны, Пушкин узнал, что гостья — ее племянница Анета Керн. Она замужем за бригадным генералом Ермолаем Керном.

Елизавета Марковна посетовала на несправедливость судьбы. Анета почти девочка, а муж ее немолод. К тому же живут они в ужасной глуши, где-то в Лубнах, на Украине, где стоит полк генерала. А ведь такая красавица могла бы блистать при дворе. Сам государь с нею танцевал на смотре войск в Полтаве.

Так Пушкин познакомился с Анной Керн.

Весь этот вечер он был занят только ею. А она не замечала его. Имя Пушкина мало что говорило молоденькой провинциалке. В Лубнах его еще не слышали. И Анна Петровна, завороженная созерцанием литературных знаменитостей, скользнула небрежным взглядом



Фонтанка близ Обуховского моста.
Литография К. Беггрова. 20-е годы XIX в.

по невысокой фигуре курчавого юноши. Всем ее вниманием владел Крылов. Его за какой-то фант заставили читать басню. Читал он удивительно. А потом начались шарады, и Анне Петровне опять было не до Пушкина. Ей досталась роль Клеопатры — египетской царицы, которая умертвила себя, прижав к груди ядовитую змею.

Раскрасневшаяся, юная, с корзинкой цветов в руках (предполагалось, что там находилась змея — аспид), «Клеопатра» была прелестна. Пушкин не сводил с нее восхищенных глаз. Он во что бы то ни стало решил завладеть ее вниманием.

У Олениных ужинали за маленькими столиками. Прихватив двоюродного брата Анны Петровны, Пушкин сел за столик позади нее и принялся ею восхищаться: «Можно ли быть столь прелестной!» Он завел шутливый разговор про рай и ад и через брата своей соседки задавал ей вопросы.



В гостиной у Олениных.
Акварель неизвестного художника. 10-е годы XIX в.



Е. М. Оленина.
Литография по рисунку П. Соколова. 1821 г.

Он говорил:

— Я не прочь попасть в ад. Там, во всяком случае, будет много хорошеньких и можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?

Анна Петровна не хотела.

— Ну, как же ты теперь, Пушкин? — спросил ее брат.

— Я передумал. Я в ад не хочу, хотя там и будет много хорошеньких.

Этим разговор кончился.

После ужина, когда гости уезжали и Анна Петровна садилась в карету, она заметила Пушкина. Он стоял на крыльце и смотрел ей вслед.

Прошло несколько лет. Они вновь встретились в глуши Псков-



А. П. Керн.
Миниатюра неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

ской губернии, в селе Тригорском. И, вспоминая их первую короткую встречу у Олениных, Пушкин писал Анне Петровне:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Весною дом на Фонтанке затихал. С весны до зимы Оленины жили в Приютине — своей мызе под Петербургом.

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:

Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут...
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах.



Приютино, мыза Олениных.
Акварель неизвестного художника. 10-е годы XIX в.

Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты. . .
Но мы забудем шум
И суеты столицы,
Изладим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютино с тобою
Согласны? По рукам!

Так писал Батюшков в послании к Александру Ивановичу Тургеневу, приглашая его вместе отправиться в Приютино.

На мызе Олениных собиралось столько гостей, что мало было сливок от семнадцати коров. Гости жили привольно. В большом двухэтажном доме всем хватало места. У каждого была отдельная комната. Приезжающим объявляли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 часов завтрак, в 4 часа обед, в 6 часов полдничают, в 9 часов вечерний чай. К трапезе созывали ударом колокола. А в остальное время каждый мог заниматься всем, чем вздумается: гулять, собирать ягоды, грибы, читать, ездить верхом, стрелять в лесу из ружья, пистолета или лука. Хозяева никого не стесняли. Только к своему любимцу Крылову Елизавета Марковна иногда применяла строгие меры. «Она, — рассказывала старшая дочь Олениных, — запирала его над баней дня на два, носила сама с прислугой ему кушанье и держала его там, покудова он басни две или три не написал».

Особенно многолюдным сельский праздник бывал в Приютине пятого сентября, в день именин хозяйки. Устраивали спектакли, танцы, шарады. Пьесы сочиняли гости-литераторы, декорации писали гости-художники, среди исполнителей кроме домочадцев бывали прославленные актеры.

Пятого сентября 1819 года на именины Елизаветы Марковны приехал в Приютино Пушкин.

Шарадами в этот день, как всегда, распоряжался Крылов. Жуковский и Пушкин ему помогали.

Пушкин делал это с радостью. Он благоговел перед Крыловым и, глядя на него, часто думал с любопытством: «Кто же он в действительности, этот человек? Талант его огромен, но в остальном он загадка».

Пушкин знал, что в прошедшем веке, при Екатерине II, Крылов был бунтарем. Неугомонный и дерзкий сатирик, он испортил немало крови престарелой императрице. Случайно не постигла его участь

Новикова и Радищева. Теперь он иной — с виду добродушный чудак, про обжорство и лень которого рассказывают анекдоты. Один анекдот Пушкин записал: «У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на который она была повешена, не прочен, и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. «Нет, — отвечал Крылов, — угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». Добродушный чудак... Но басни его отнюдь не добродушны, не безобидны.

Пушкин с детства любил творения Крылова, восхищался его «Подщипой». Злая сатира на царствование Павла I, не менее злая пародия на классическую трагедию, «Подщипа» ходила в списках. В Лицее ее знали. В лицейском стихотворении «Городок», перечисляя своих любимых писателей, Пушкин назвал и Крылова, вспомнил его «Подщипу»:

И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены[1]
Котурны и кинжал
Игривой Талье[2] дал,
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я — *с Чернавкой*
Подщипа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
  В трагическом смятенье
  Плененные цари,
  Забыв войну, сраженья,
  Играют в кубари...

И вот теперь в Приютине он разыгрывает шарады с «бесценным шутником», таким мастером на выдумки. На сей раз для шарады Крылов выбрал слово «баллада». Сперва представляли бал, потом девицу-ладу. А в заключение Жуковский для отгадывания «целого» прочитал стихотворение, первые полторы строки которого написал он сам, остальные — Пушкин.

Что ты, девица, грустна,
  Молча присмирела,
Хоровод забыв, одна
  В уголку присела?
«Именинницу, друзья,
  Нечем позабавить.

[1] Мельпомена — муза трагедии.
[2] Талья, Талия — муза комедии.

Думала в балладе я
    Счастье наше славить.
Но Жуковский наш заснул,
    Гнедич заговелся,
Пушкин бесом ускользнул,
    А Крылов объелся».
Вот в гостиной стол накрыт —
    Поскорее сядем,
В рюмках пена закипит
    И балладу сладим:
Вот и слажена она
    Нужны ли поэты? —
Рюмки высушив до дна,
    Скажем: многи леты
Той, которую друзьям
    Век любить не поздно!
Многи лета также нам,
    Только с ней не розно.

Пушкину не суждено было провести многие годы «не розно» с семейством Олениных. Судьба их разъединила. Но дружеские связи, возникшие в доме на Фонтанке и в Приютине, не оборвались.

„Тебя зовет на чашку чаю Раевский — слава наших дней“



ак-то, зайдя с приятелем к Жуковскому, Пушкин не застал его дома и оставил записку:

Раевский, *молоденец* прежний,
А там уже *отважный* сын,
И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц-богинь,
К тебе, Жуковский, заезжали,
Но к неописанной печали
Поэта дома не нашли —
И, увенчавшись кипарисом,
С французской повестью Борисом
Домой уныло побрели...

Записка кончалась приглашением:

Тебя зовет на чашку чаю
Раевский — *слава наших дней*.



Н. Н. Раевский-младший.
Портрет работы неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

Прочитав это послание, Жуковский понял, что Пушкин заезжал к нему вместе с сыном генерала Николая Николаевича Раевского — Николаем Раевским-младшим. Они, очевидно, выполняли поручение Раевского-отца. Пушкин и тут не удержался от шалости: вставил в записку строчки из его, Жуковского. стихотворения, где воспевались герои 1812 года и среди них — Раевские.

С Николаем Раевским-младшим Пушкин познакомился еще в лицейские годы. Как-то зайдя в казармы к своему другу гусару Чаадаеву, он встретил у него молоденького гусарского офицера богатырского сложения, с круглым детским лицом и едва заметными темными усиками.

Чаадаев представил их друг другу. Пушкин был удивлен, узнав, что фамилия его нового знакомца — Раевский.

Раевский... Неужели из тех самых?

Фамилия эта осталась в памяти с 1812 года. Тогда они в Лицее бегали в Газетную комнату и набрасывались на свежие газеты. И вот однажды в «Северной почте» прочитали сообщение, что генерал-лейтенант Раевский для воодушевления воинов вышел «перед колонной, не только сам, но поставил подле себя двух юных сыновей своих». Вскоре узнали подробности.

Двадцать третьего июля при местечке Дашковка шел жестокий бой. Десятитысячный корпус генерала Раевского уже много часов сдерживал натиск сорокатысячной французской армии под командованием маршалов Даву и Мортье. На какое-то мгновенье мушкетеры Раевского дрогнули. Тогда он схватил за руки стоявших подле него двух подростков-сыновей, шестнадцатилетнего Александра и одиннадцатилетнего Николая, и крикнул солдатам: «Вперед, ребята! Я и дети мои откроем вам дорогу!» С такими словами он кинулся на неприятеля и увлек за собою солдат.

О подвиге Раевского узнала вся Россия. Жуковский прославил его в «Певце во стане русских воинов»:

Раевский — слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

«Отважного сына» и «славу наших дней» Пушкин и позаимствовал из этого стихотворения.

Младший «отважный сын» стал его другом. У них было много общего. Несмотря на то, что юный гусар с десятилетнего возраста служил в армии, участвовал в сражениях и походах, он был прекрасно образован, любил музыку, литературу, знал несколько языков.

В Петербурге их дружба продолжалась. Николай Раевский ввел Пушкина в свою семью, познакомил с матерью, сестрами, отцом.

Раевские обычно жили в Киеве, где размещен был корпус, которым командовал генерал. В конце 1817 года женская половина семейства приехала в Петербург, а Николай Николаевич — старший — наезжал сюда время от времени.

Анна Петровна Керн рассказывала, что в Киеве она «имела счастье посетить бесподобное семейство Раевских. Впечатление незабвенное и вполне эстетическое».

Семейство Раевских с полным основанием слыло незаурядным. Младшая из дочерей генерала — София — писала о себе в старости:



Н. Н. Раевский-старший.
Акварель П. Соколова. 1826 г.

«Я — Раевская сердцем и умом, наш семейный круг состоял из людей самого высокого умственного развития, и ежедневное соприкосновение с ними не прошло для меня бесследно».

Пушкин горячо полюбил этих людей. Они стали для него «Раевские мои».

Умный, с сильным характером генерал Раевский, свидетель и участник великих событий, был находкой для писателя. Он покорил Пушкина, как раньше покорил другого поэта — Батюшкова.

В заграничную кампанию 1813/14 года Батюшков служил при Раевском адъютантом. Он мог часами рассказывать о своем бывшем командире, о его стойкости, о его уме и благородстве.

— Под Лейпцигом мы бились, — рассказывал Батюшков. —



М. Н. Раевская.
Акварель П. Соколова. 1821 г.

...Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства — нималого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною... Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дело идет дурно...» Еще минута, еще другая — пули летели беспрестанно; наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко». Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его



М. Н. Раевская.
Рисунок Пушкина. 1820 г.

оставил. Казак указал мне на деревню пикою, проговоря: «Он там ожидает вас».

Мы прилетели. Раевский сходил с лошади... На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за вороты на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно; я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего, — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш и потом, оборотясь ко мне: — Чего бояться, господин поэт (он так называл меня в шутку, когда был весел):

Уж больше крови нет, что жизнь давала мне,
Кровь отдана родной моей стране».

Для блага родной страны Раевский готов был отдать все — и жизнь и кровь.

Солдаты любили его. Лица чиновные и знатные побаивались: у него был злой и острый язык. Среди исторических анекдотов, записанных Пушкиным, есть такой: «Генерал Раевский был насмешлив и желчен... Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славою, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать; Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: «Кажется, ваше превосходительство, принимаете меня за пушку без прикрытия».

Раевский был неисчерпаемым источником исторических рассказов и анекдотов. Он рассказывал Пушкину о временах Екатерины II, о Потемкине, при котором служил и которому доводился внучатым племянником. Исторические предания жили в этой семье. Ведь и жена Раевского — Софья Алексеевна — была внучкой Ломоносова. Ее мать — единственная дочь великого человека — вышла замуж за библиотекаря Екатерины II — грека Алексея Константинова. Русская история творилась на их глазах.

О старшей дочери Раевского — Екатерине Николаевне — Пушкин отзывался как о женщине необыкновенной. Она была просватана за генерала Михаила Федоровича Орлова, арзамасца Рейна, члена Тайного общества.

Вторую дочь Раевских — Елену — Пушкин воспел в стихотворении «Увы, зачем она блистает минутной, нежной красотой...» Елена Николаевна была умна, красива, но болезненна.

Третья из сестер Раевских — Мария — тогда едва вышла из детского возраста. Высокая худенькая девочка-подросток, она унаследовала от матери смуглую кожу, глаза и кудри гречанки, а от отца вздернутый славянский нос. Она была некрасива и при этом очаровательна. Наблюдая за нею, любуясь ею, мог ли думать Пушкин, что эту девочку ожидает трагическая судьба... Что пройдет немного времени — и она, совсем юная, подчиняясь воле отца, станет женой тридцатишестилетнего генерала Волконского. А затем, вопреки воле отца, последует за мужем, осужденным декабристом, в холодную пустыню Сибири.

Пушкин оценил ее в полной мере. Ее образ никогда не тускнел в его душе. Ей предстояло быть воспетой в «Кавказском пленнике», «Евгении Онегине», «Полтаве», героиня которой также названа Марией.

«Он питал ко всем нам чувство глубокой преданности», — говорила о Пушкине Мария Раевская.

„Орлов, ты прав: я забываю свои гусарские мечты...“

В марте 1819 года Александр Иванович Тургенев, который был в курсе всех дел своего юного друга, написал Вяземскому, что Пушкин «идет в военную службу».

Возможно, рассказы Раевских — и старшего и младшего — были причиной того, что Пушкиным вновь овладели его «гусарские мечты». К тому же ему наскучило сидеть на месте. Николаю Раевскому нет и восемнадцати, а где он только не был, чего не видел! А он, Пушкин, точь-в-точь как их лицейский гувернер Чириков, который почитал поездку из Царского Села в Петербург чуть ли не подвигом. Они пели про него, что «походом» он на Выборгской бывал.

Чем он лучше Чирикова? Где он бывал «походом»? Тоже на Выборгской, да ещё на Петербургской стороне, да у себя в Коломне. Что он видел? Москву, Петербург, Царское Село, две деревни — Захарово да Михайловское. Немного для поэта, который жаждет впечатлений.

Чтобы путешествовать, нужны средства. У него их нет. А военные люди легкие — сегодня здесь, завтра там. Он решил идти служить и покинуть Петербург.

В Петербурге, на глазах у царя и великих князей, служба — мука. Они обожают фрунт и муштру. Это у них в крови, у «августейшего семейства». Кто-то спросил Жуковского, что собой представляет брат царя, великий князь Николай Павлович. Жуковский ответил:

— Суди сам. Я никогда не видел книги в его руках. Единственное занятие — фрунт и солдаты.

И младший брат царя великий князь Михаил Павлович не лучше. Говорят, маменька — вдовствующая императрица — никак не могла приохотить его к чтению. Он ненавидит все печатное. Зато муштра, фрунт... Редкий ефрейтор так хорошо выполняет ружейные приемы, как великие князья. И редкий так дотошен и придирчив. А царь, этот воспитанник философа Лагарпа... Он постоянно рядится в военные мундиры, гарцует верхом, затягивается, хотя никакие корсеты уже не могут скрыть его полноты.

Когда царь в Петербурге, он играет в солдатики. Не в оловянные, в живые. Товарищ в играх — Аракчеев. Играют самозабвенно, с азартом. Под бой барабанов и свист шпицрутенов.

Петербург — военная столица — забит гвардией. На каждом шагу казармы. Вдоль Загородного проспекта — Семеновского полка,



Бывшие казармы Московского полка на набережной Фонтанки.
Фотография.

вдоль Измайловских улиц-рот — Измайловского. Московского — на Фонтанке. Преображенского — в Миллионной улице. Гвардейского морского экипажа — на Екатерингофском проспекте.

Петербург засыпает и просыпается под барабан. Разводы, парады, ученья...

Сколько раз, проходя мимо Марсова поля, Пушкин видел: мороз ли, зной ли — солдаты на плацу. Их выводят задолго до назначенного часа, и они ждут, маются. За спиной тяжелый ранец, на голове высокий кивер с аршинным султаном, который колышется на ветру. Шея стиснута «до удавления» жестким воротником, грудь — скрещенными ремнями. Солдаты ждут... И вот начинается ученье. Тут уж не зевай. Действуй быстро, ловко. Выполняй все точно. Гляди бодро, весело. А не то... Пушкин еще в Лицее слышал: когда придворный лакей подает царю стакан воды, Александр встает и кланяется. А в войсках — «зеленая улица», целые погосты из могил засеченных солдат...

Солдаты сложили сказку.

Однажды уговорил черт солдата продать свою душу. Солдат согласился, с условием, что черт отслужит за него срок — двадцать пять лет. Стал черт солдатом. Но недолго служил. Скоро ему от палок, зуботычин, муштры сделалось так жутко, что он бросил к ногам солдата всю амуницию и, забыв про многострадальную солдатскую душу, поскорей убрался в ад.

Служить в столичных полках становилось все труднее. Аракчеев сам подбирал для них командиров, которые, «беспрестанно содержа солдат в труде и поте, выбьют из них дурь».

Не таких впечатлений хотелось Пушкину. Он мечтал о другом. Ходили слухи, что Россия объявит войну Турции, чтобы освободить греков. Не раз приходилось слышать толки:

— Что, батюшка, говорят, будто наши идут в Туречину?

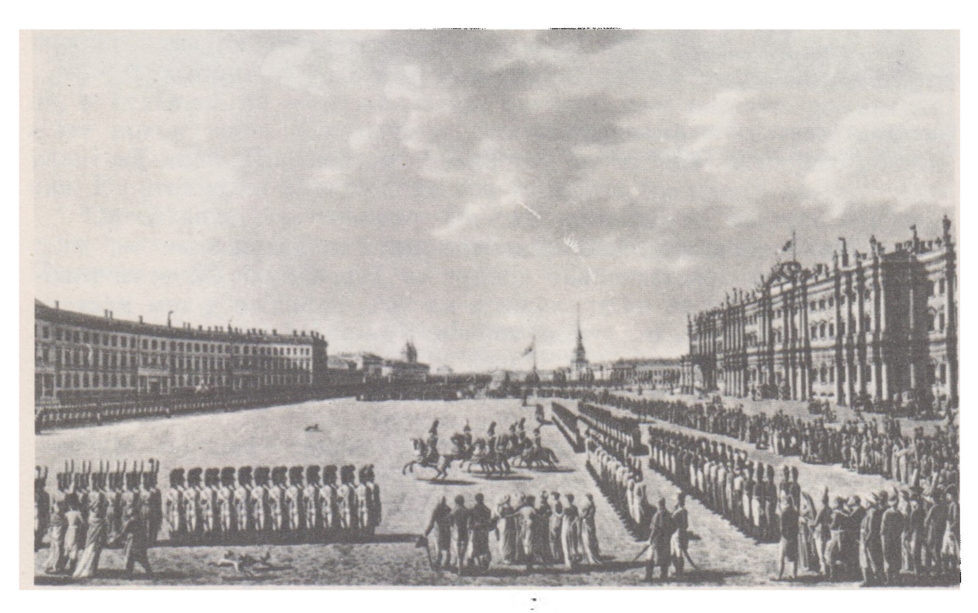
— Пустяки.

— То-то, родной. Вот уж три года нет от моего грамотки.

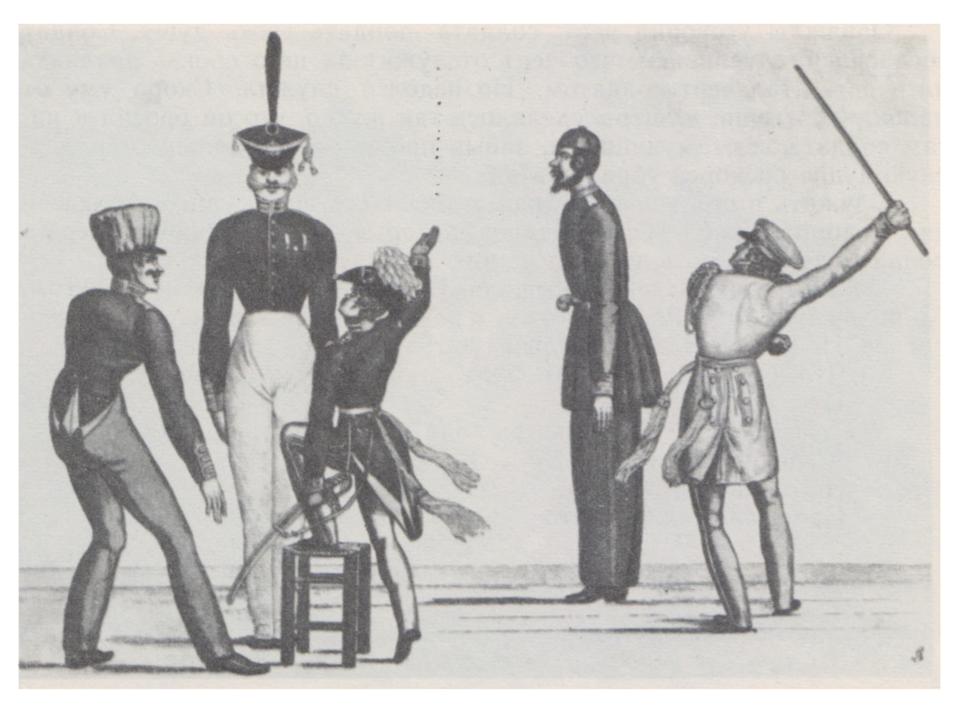
— А где твой муж?

— Погонщик в Могилеве.

— Присылает он тебе что?



Парад на Дворцовой площади.
Гравюра. 10-е годы XIX в.



Военная муштра в александровское время.
Рисунок неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

— Малое дело, батюшка. Да и где взять солдатушке.

А что, если действительно пойдут «в Туречину»? Об этом говорили и в свете. Тогда надо служить на юге, поближе к тем местам.

Случай казалось бы, представился. Как раз в это время один из знакомых Пушкина, генерал Павел Дмитриевич Киселев, получил назначение на Украину, в подольское местечко Тульчин, и пообещал Пушкину, что возьмет его к себе.

О Тульчине Пушкин слышал от приезжающих офицеров. Местечко невелико, но красиво. Это владение графа Мстислава Потоцкого перешло к России от Польши. Там великолепный дворец и обширный парк, где хозяин разрешает бывать и офицерам. В Тульчине квартирует штаб 2-й армии. Молодые офицеры собираются по вечерам в доме Пестеля, адъютанта главнокомандующего, и в других домах. Есть и светские развлечения.

Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому, что Пушкин

«не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною». Слух об этом дошел и в Неаполь к Батюшкову.

«Жаль мне бедного Пушкина! — писал Батюшков Гнедичу. — Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии».

Это было в конце мая, а в начале июня Пушкин тяжело заболел. Его вновь посетила старая знакомая — горячка. Он метался в жару, ему обрили голову. Снова, как и год назад, Лейтон ни за что не ручался.

И опять сильный организм поборол болезнь.

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой:
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
Как прежде, посетили снова
Мой угол тесный и простой.

Болезнь несколько поумерила его воинственный пыл. К тому же, из Тульчина ему не слали вестей. Генерал Киселев не торопился. Когда же Пушкин пожаловался на него другому генералу — Алексею Федоровичу Орлову, то услышал в ответ:

— Тульчин вам ни к чему и военная служба тоже. В Петербурге ли, в Тульчине ли — служба везде служба. Вам надобно романтики, а это пот и кровь. Сказывают, под Харьковом, в Чугуеве, восстал уланский полк. Противятся начальству, не желают военного поселения. Не угодно ли вместо подвигов усмирять бунтовщиков...

Орлов знал, что говорил. Он сам командовал конным гвардейским полком и видел, что творится в армии. Возражать было нечего. Пришлось согласиться.

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;
О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты! ..

Смирив немирные желанья,
Без доломана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевицей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов...

Десятого июля переводчик иностранной коллегии Александр Пушкин получил разрешение выехать из Петербурга, но не в Тульчин, а в «здешнюю губернию» по собственным делам. В тот же день он отправился в псковскую деревню своей матери — сельцо Михайловское — «под сень дедовских лесов».

Он ехал не только «без доломана, без усов», но и без волос. Волосы после болезни едва начали отрастать.

„Петербург неугомонный"

После тихой псковской деревни — Михайловского,— мира лесов и полей Петербург показался Пушкину еще шумней, суетливей, чем прежде. Уже третий год жил он в Петербурге и знал этот город не только с парадной стороны. Он знал его будни. Они врывались в жизнь «высшего круга», переплетались с нею, властно заявляя о себе.

Рано утром, когда светские красавицы и франты возвращались с балов, по петербургским улицам уже громыхали груженые телеги, спешили молочницы с кувшинами, разносчики с лотками.

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

С раннего утра город был оживлен.

Не спала Коломна. В мелочных лавочках, где торговали всем на свете, толкались кухарки и те непритязательные коломенские обыватели, которые сами закупали себе провизию и сами варили свой обед. Их не смущало, что сахар здесь попахивает мылом, а сладкие пироги селедками. Они привыкли к этому.

Гудел Сенной рынок у Садовой улицы, по которой лежал путь из Коломны на Невский. Рынок был самый большой, самый дешевый, а потому и самый многолюдный в городе. Здесь торговали сеном, столь необходимым для коров и лошадей, которых во множестве держали петербургские жители. С возов и ларей продавали всякую снедь: мясо, рыбу, овощи, битую птицу, живых поросят. И то и дело спорящие и торгующиеся людские голоса покрывал пронзительный визг поросенка.



Сенная площадь.
Литография А. Брюллова. 20-е годы XIX в.



Садовая улица.
Литография К. Беггрова по рисунку К. Сабата и С. Шифляра. 20-е годы XIX в.

Садовая улица тоже готовилась к торговому дню. Приказчики открывали ставни магазинов и лавок, дворники мели тротуары. Слышались выкрики разносчиков:

— Пироги с сазаниной, с сиговиной, с лучком! Кто бы купил, а мы бы продали!

— Сайки, сайки, белые крупчатые, поджаристые!

— Сахарны конфеты! Коврижки голландские! Жемочки медовые! Патрончики, леденчики!

— Эй, дядя, постой! — кричал продавцу сластей мальчишка-подмастерье, выскочив из цирюльни. — Что стоит коврижка?

— Полтина.

— Возьми, брат, грош.

— Не приходится. Эдаких цен нет.

— А жемочки почем?

— Пятак штука.

— Возьми, брат, грош! У меня денег больше нет. И то дал господин в цирюльне в прибавку, что хорошо его выбрил. Ну, это что у тебя?

— Не вороши же! Не вороши, как руки не хороши. Где тебе есть коврижки!

Возвращавшийся откуда-то спозаранок франт — видно, любитель пошутить — останавливал разносчицу апельсинов:

— Что у тебя, голубушка?

— Апельсины, батюшка.

— Только, кажись, не самые хорошие?

— Как, сударь, не хорошие? Христос с вами!

— Я шучу, душенька. Твои апельсины удивительны.

— Да не осудите, батюшка. Чище не отыщете.

— А что, видно, на канаве долго полоскала?

Просыпался и Невский — главная улица столицы. Здесь на каждом шагу встречались магазины. Невский весь был облеплен золотыми вывесками. Случалось, что подгулявшие гвардейские офицеры,



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817.



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

желая позабавиться, приходили сюда ночью и под носом у дремавшего блюстителя порядка — будочника — перевешивали вывески. Утром над булочной красовалась вывеска колбасника, над мясной лавкой — французской модной модистки, над трактиром — аптеки, а над аптекой — гробовщика.

Но обычно все было благопристойно и чинно.

Магазины на Невском привлекали обилием и роскошью.

Здесь стоял и Большой гостиный двор. Огромный прямоугольник этого длинного двухъярусного здания с открытой галереей выходил на четыре улицы. Его строил еще при Екатерине II архитектор Валлен-Деламот. Каждая из четырех сторон Гостиного называлась «линией». Та сторона, что обращена к Невскому, носила назва-

ние Суконной линии; обращенная к Городской думе — Большой Суровской линии. Та, что выходила на Садовую — Зеркальной. А та, что тянулась по Чернышеву переулку — Малой Суровской.

В магазинах на Суконной линии продавали сукна, шерстяные ткани, бархат. На Большой Суровской, вернее Сурожской, линии — шелка, которые привозили из-за Сурожского, то есть Азовского, моря. На Зеркальной линии торговали «светлым товаром» — зеркалами, женскими украшениями, обувью, галантереей, многим из того, что видел Пушкин в кабинетах модных франтов, что изобразил он в кабинете Онегина:

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.



Невский проспект у Большого Гостиного двора.
Литография К. Беггрова по рисунку Е. Есакова. 20-е годы XIX в.

И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале,
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.

У входа в магазины стояли зазывалы — приказчики или мальчики, свободные от дел. Завидев получше одетого прохожего, они кидались к нему, выкликая:

— А вот пожалуйте к нам!

— У нас товары самые лучшие!

Они осаждали прохожих, как рой слепней, всячески расписывали и расхваливали товары, нередко хватали намеченную жертву за полы и тащили в лавку. Гостинодворцы умели зазывать, как никто.

Задолго до открытия магазинов к Гостиному двору стекались

толпы нищих — старухи и старики в лохмотьях, бабы с грудными младенцами на руках, увечные, убогие. Роскошь и нищета в Петербурге жили рядом.

Офицер лейб-гвардии Гусарского полка Василий Олсуфьев двадцать восьмого марта 1819 года записал в своем дневнике: «Погода прекрасная. Обедал у Чаадаева, где был Пушкин, много говорили; он нам читал свои сочинения. Потом я с Чаадаевым пошел пешком, заходил в Английский магазейн».

Английский магазин, где торговали товарами, привезенными из Англии, тоже помещался на Невском. Пушкин иногда сопровождал туда приятелей. Заходили и во французские модные лавки. Да и



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

как было не зайти, когда в их окнах сверкало и пестрело так много соблазнительного, а склонившиеся над шитьем мастерицы были все как на подбор милы.

Пушкин не столько покупал, сколько разглядывал с любопытством, как разложены в красивых шкафах всевозможные принадлежности роскоши и моды: кружева, подтяжки, часы, чулки, манишки, страусовые перья, запонки.

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав...

Да, многое привозили в Петербург из Парижа и Лондона в обмен на лес и сало. Когда Пушкин в первой главе «Онегина» писал эти строки, ему вспоминалось объявление, напечатанное некогда Новиковым в его журнале «Трутень»: «Из Кронштадта. На сих днях прибыли в здешний порт корабли: Trompeur[1] из Руана в 18 дней; Vettilles[2] из Марселя в 23 дня. На них следующие нужные нам привезены товары: шпаги французские разных сортов, табакерки черепаховые, бумажные, сургучные; кружева, блонды, бахромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки и всякие так называемые галантерейные вещи... и прочие модные товары. А из Петербургского порта на те корабли грузить будут разные домашние наши безделицы, как-то: пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотна и проч. Многие наши молодые дворяне смеются глупости господ французов, что они ездят так далеко и меняют модные свои товары на наши безделицы».

Это было написано на полвека раньше, но изменилось разве то, что после разгрома Наполеона в Кронштадт и Петербургский порт все больше приходило английских кораблей да модные товары стали несколько иными, так как менялась мода. А наши «безделицы», которые отправляли в Англию, Францию, Голландию, оставались все те же: лес, железо, пенька, сало.

Пушкин это знал и видел. Он бывал в порту.

Его влекло сюда любопытство, желание подышать иным воздухом, увидеть корабли с пестрыми флагами на мачтах, услышать разноязычную речь.

Порт был воротами в мир, а Пушкин мечтал путешествовать.

---

[1] Trompeur *(франц.)* — обманщик.
[2] Vettilles *(франц.)* — безделица.



Петербургский порт на Стрелке Васильевского острова.
Гравюра. 10-е годы XIX в.

«С детских лет путешествия были моей любимой мечтою...» Подчас он завидовал Матюшкину, который променял Петербург на палубу корабля.

В порту было удивительно. Иностранцы говорили, что такого красивого порта, как в Санкт-Петербурге, нет ни в одном приморском городе.

Порт заворожил воображение Пушкина еще тогда, когда он мальчиком катался по Неве с дядей Василием Львовичем. Они плыли мимо Стрелки Васильевского острова, и вдруг там на берегу, над полукруглой гранитной набережной, далеко выдвинутой в речной простор, поднялись два великана — огромные красно-бурые колонны, украшенные бронзовыми рострами — носами кораблей. А за ними, на возвышении, будто греческий храм, забелело многоколонное здание.

Когда плыли обратно, уже стемнело и над красно-бурыми великанами взвились языки пламени. Это пылала смола. Зрелище было фантастическое.

Словоохотливый Василий Львович, округло жестикулируя, объяснил, что это — Петербургский порт. Что колонны-маяки называются ростральными. В Древнем Риме был обычай в честь морских побед воздвигать колонны и украшать их отпиленными носами захваченных вражеских кораблей. Колонны на Стрелке знаменуют победы Российского флота. А здание на возвышении — Биржа. Там русские купцы заключают сделки с иноземными. Строил все это зодчий Тома де Томон.

Порт жил особой жизнью.

На площади перед Биржей матросы и шкиперы с купеческих судов вели торг устрицами, фруктами, пряностями. Тут можно



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

было купить забавную обезьяну, разноцветных попугаев, диковинную морскую раковину.

Порт был поставщиком города. Отсюда водою по рекам и каналам доставляли на склады всевозможные товары и снедь. Со складов все это привозили в магазины, чтобы удовлетворить нужды и прихоти большого города.

„Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать“

Пушкин ближе всего столкнулся с деятельным «неугомонным» Петербургом в книжных лавках.

В те времена книгопродавцы и сочинители были тесно связаны. Книгопродавцы сплошь и рядом не только продавали, но и издавали книги. Пушкин еще в Лицее знал это. В «Исповеди бедного стихотворца» незадачливый поэт говорит священнику:

Я летом и зимою
Пять дней пишу, пишу, печатаю в шестой,
Чтоб с горем пополам насытиться в седьмой.
А в церковь некогда: в передней Глазунова
Я по три жду часа с лакеями Графова.

Графовым в насмешку называли графа Хвостова. Глазунов был одним из самых известных петербургских книгопродавцев.

Тогда же в Лицее Пушкин, решив стать писателем, просил у Жуковского на это благословения:

Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.

Из рассказов и книг Пушкин знал, что тропа поэта нелегка, и даже сам отговаривал своего юного друга-стихотворца вступать на этот путь. Приводил в пример Руссо, Камоэнса, Кострова, рисовал невзгоды, которые ждут впереди.

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки –

Вот пышны их дворцы, великолепны залы,
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы...

Когда пятнадцатилетний лицеист писал эти строки, он еще всерьез не задумывался над тем, как живут в действительности русские поэты и можно ли вообще существовать поэтическим трудом. Оказалось, что нельзя. Да и мало кто пытался. Среди знакомых Пушкина не было ни вдохновенных певцов, которые бы ютились в подвалах — «под землей», ни стоиков, предававшихся писанию стихов на чердаках. Все обстояло гораздо прозаичнее: поэты снимали квартиры. Одни похуже, другие получше. За квартиру платили из жалованья, которое получали на службе. Почти все поэты служили. Служили Крылов и Гнедич, служил или метался в поисках места Батюшков. Жуковский преподавал русский язык жене великого князя Николая Павловича — Александре Федоровне, получал «пансион» — четыре тысячи рублей в год.

Не служить и не иметь других доходов значило обречь себя на нищенское существование.

А как же журналы, которые «питают» поэтов?

Кюхельбекер повез Пушкина в контору журнала «Благонамеренный», где печатался сам.

Собственно говоря, никакой конторы не было. Все дела журнала вершил в своей квартире его издатель Александр Ефимович Измайлов.

Жил он за Лиговским каналом, в той части Петербурга, которая называлась Пески. В журнале его адрес указывался так: «...на Песках между бывшей 9-ой роты и Итальянской слободы в доме Моденова под № 283».

От Коломны до Песков путь был не близкий — на другой конец города. Пока извозчик тащился, Кюхельбекер успел порассказать про Измайлова. Чудак, шутник, добродушен, но грубоват. Служит в Горном департаменте. Обременен семейством. Чуть ли не силою заставляет подписываться на свой журнал. И знакомых и подчиненных. Даже каких-то маркшейдеров в Екатеринбурге. Даже петербургских купцов. Ну, с этими, верно, подружился в трактире, выпивал без чинов, и купцы его уважили.

— Отныне, мой милый друг, — сказал торжественно Кюхельбекер, — в мои гекзаметры заворачивают салаку и селедки. Вот участь поэтов...

Измайлов принял их в неприбранном кабинете, заваленном кипами журналов. Он был дюж, краснолиц, халат засаленный, на груди крошки табаку. В комнате кроме него обитала еще канарейка в клетке и моська по кличке Венерка номер два.



А. Е. Измайлов.
Литография И. Степанова. 20-е годы XIX в.

Свойственник Жуковского — поэт Воейков, поместив Измайлова среди других писателей в своем «Доме сумасшедших», написал о нем:

Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждений, эпиграмм;
Он пищит мне: «Я согласен.
Я писатель не для дам.
Мой предмет: носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями...
Мир квартальных — вот мой мир».

Измайлов был действительно писателем не для дам. Пушкин знал его басни. Они были не бесталанны, но далеко не всем по вкусу. Их населяли квартальные, пьяные мужики и бабы, пиво, лук, ерофеич, соленая севрюга и прочие трактирные прелести.

«Благонамеренный» тоже напоминал окрошку — чего в нем не встречалось! Стихи Кюхельбекера, Дельвига, Баратынского, Пушкина буквально тонули среди всякой всячины: бездарных любительских стишков, «нравоучительных рассуждений», «истинных происшествий», сказок, басен, «восточных повестей», объявлений.

«На Петербургской стороне, в Полозовой улице, в доме вахмистра Уптова под № 947 живут две добрые и несчастные старушки — девицы Христина и Луиза Егоровна Цедельман... Обе они жили прежде без нужды своими трудами, но, будучи уже несколько лет одержимы болезненными припадками, не в состоянии теперь заниматься никаким рукоделием...

Издатель «Благонамеренного» с удовольствием примет на себя обязанности доставлять сим несчастным старушкам пособие от благотворительных и сострадательных особ и даст в свое время в том отчет публике».



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

Такие объявления появлялись из номера в номер. Обездоленных в столице хватало. Измайлов им сочувствовал. Он сам нуждался. Журнал не обогащал его. Да и как могло быть иначе, если дело велось совершенно по-домашнему, спустя рукава, номера журнала опаздывали, а то и совсем не выходили из-за беспечности издателя. Пушкин рассказывал, что однажды, не выпустив журнала, Измайлов «печатно извинился перед публикой тем, что он на праздниках гулял». Извинение было в стихах:

Как русский человек на праздниках гулял:
Забыв жену, детей, не только что журнал.

«Благонамеренный» не питал ни издателя, ни поэтов.

Не лучше обстояло дело и в других местах. Как правило, в журналах поэтам не платили, тем более начинающим. «Платить за стихи? Помилуйте! Пусть скажут спасибо, что их печатают»,— так рассуждали издатели.

Тут хочешь не хочешь, а приходилось служить. Если нет состояния, поместья.

У Пушкина их не было. Служить он не хотел. Но он во что бы то ни стало решил добиться самостоятельности.

Стремление к самостоятельности, независимости, чувство собственного достоинства отличали его с детства. Лицейское воспитание усилило это. В Лицее он смеялся над «сочинителями в прихожей» — угодливыми одописцами, которые вдохновлялись по заказу. Такие не гнушались подачками, являя собой нечто среднее между холопом и шутом. Их было немало в прошедшем XVIII веке. Он их презирал. Когда императрица Мария Федоровна прислала ему в Лицей золотые часы с цепочкой за стихи в честь принца Оранского, он их разбил о каблук.

Часы с цепочкой — подачка. Литературный гонорар — не подачка. Его брать не зазорно. Это — плата за труд. И, добиваясь самостоятельности, он пришел к мысли, которую затем высказал в своем «Разговоре книгопродавца с поэтом»: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Если журналы не питают поэтов, он обратится к книгопродавцам, к издателям книг.

Лавки таких книгопродавцев, как Глазунов, Плавильщиков, Сленин, Заикин, в Петербурге знали все, кто разумел грамоте. Пушкин тоже знал их еще с лицейских лет. Правда, сперва заочно. Просматривая свежие газеты в лицейской Газетной комнате, он не раз читал такие объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях»:

«В книжной лавке против Гостиного Двора Зеркальной линии,



Литография из ежемесячного издания «Волшебный фонарь». 1817 г.

идучи от Невского проспекта по левую руку от ворот в крайней под № 1 Матвея Заикина, продаются следующие книги...»

Теперь он увидел эти лавки воочию. Его друзья-литераторы предпочитали из них две: Плавильщикова и Сленина.

Василий Алексеевич Плавильщиков открыл свою книжную торговлю в конце XVIII века. И что тогда особенно поразило петербургских жителей — лавка Плавильщикова была теплая. Обычно же книгами торговали вразнос или в открытых помещениях, так, как описано в одном из тогдашних стихотворений:

Завален книгами гостиной двор торжок,
Выходишь, например, на рынок за свечами,
Тут просвещение в корзинах за плечами,

Шаг дале — лавок ряд, в них полки в семь аршин,
Там выставлены все по росту книги в чин;
В кафтанах разных мод, или в тюках огромных
Иные век лежат в углах себе укромных.
Иду — глушит меня книгопродавцев шум;
Все в такт кричат: сюда! Здесь подешевле ум!
Всяк Митридат[1] из них, на память все читают.
Книг роспись предо мной — уступку обещают,
Лишь только б как-нибудь меня к себе привлечь.

В такие лавки зимой покупатели почти не заглядывали — боялись замерзнуть. А книгопродавцы для согрева в огромных количествах поглощали горячий чай.

Теплая лавка Плавильщикова была новинкой. Новостью была и открытая им библиотека, где можно было за небольшую плату брать любимые книги. До тех пор книгопродавцы для прочтения давали лишь то, что нельзя было продать — книги испорченные, старые.

Литераторы пользовались библиотекой Плавильщикова безвозмездно. Они приходили делать выписки, сверять тексты.

Библиотека и лавка Плавильщикова помещалась на Мойке у Синего моста. Когда Пушкин начал заглядывать сюда, хозяин лавки был уже стар и всем распоряжался его приказчик — сметливый, обходительный, по фамилии Смирдин.

Через несколько лет, унаследовав торговлю Плавильщикова, Смирдин стал самым известным петербургским книгоиздателем. Он издавал и Пушкина.

Лавка другого корифея книжной торговли — Ивана Васильевича Сленина — помещалась на Невском у Казанского моста. Она была без зазыва, без лубочных картинок в окнах, которые так привлекали многочисленных зевак.

Поднимались к Сленину по лестнице во второй этаж, дергали колокольчик у двери — и тотчас же слышали торопливые шаги хозяина. Он с улыбкой и поклоном впускал покупателей.

К Сленину ходила «чистая» публика, которая, как известно, предпочитала французские романы. Здесь их был большой выбор.

Литераторы превратили лавку Сленина в клуб. Так уж повелось, что сюда, отдуваясь, поднимался Иван Андреевич Крылов. Он гулял по Невскому и не прочь был отдохнуть, посмотреть новые книги. Здесь бывал Карамзин, приходили Гнедич, Дельвиг, Александр Измайлов, Федор Глинка.

---

[1] Митридат — Понтийский царь (в Малой Азии) 132—63 гг. до н. э. По преданию, обладал необыкновенной памятью, знал 22 языка.



Шутник Измайлов даже описал лавку Сленина в стихах:

У Сленина в лавке на креслах сижу,
На книги, портреты уныло гляжу.
Вот брат наш Державин, вот Дмитриев, Крылов,
А вот Каталини [1] — под нею Хвостов.
Тимковского цензора тут же портрет.
Есть даже Гераков [2] — Измайлова-с нет.
Авось доживу я до светлого дня.
Авось в книжной лавке повесят меня.

У Сленина читали стихи, обсуждали новости, ссорились, мирились, спорили. Хозяин не отставал от гостей. Занимаясь своим делом, он прислушивался к разговорам и время от времени вставлял острое словцо, эпиграмму, экспромт. Он был немного поэт.

Пушкина привлекало в Сленине то, что, в отличие от большин-

---

[1] Каталини — известная итальянская певица, которая приезжала на гастроли в Петербург.

[2] Гераков — третьестепенный писатель, сторонник Шишкова.



Дом № 70 по набережной Мойки, у Синего моста, где помещалась книжная лавка Плавильщикова. *Фотография.*

ства книгопродавцев, он заботился не только о собственном кармане, но и о пользе русской литературы. Потому издавал не «Барбоса-разбойника», гадательные книги и сонники, а сочинения серьезные, стоящие. Он выпустил второе издание «Истории государства Российского» Карамзина.

Может быть, он захочет издать и его, Пушкина?

Осенью 1818 года Александр Иванович Тургенев среди других новостей сообщал в Варшаву Вяземскому, что книгопродавцы говорят, будто Пушкин собирается печатать свои «мелочи», то есть мелкие стихотворения.

Книгопродавцы не ошиблись. Пушкин действительно задумал напечатать сборник своих стихов. Эта мысль пришла ему еще в Лицее, когда, расставаясь с ним, думал, как ознаменовать свое вступление в свет. Он отобрал тогда лучшие из своих стихотворений. Но дело затянулось. Замечания Жуковского, его собственные поправки, переделки, дополнения — на это ушло два года. И только теперь он решился выпустить «Стихотворения Александра Пушкина». Переписал их набело в особую тетрадь. Переписал и призадумался. Он



Дом на Невском проспекте у Казанского собора, где помещалась книжная лавка Сленина.
Деталь литографии Ниц по рисунку А. Гозелли. 20-е годы XIX в.

знал, что между рукописью начинающего писателя и печатным станком лежит немало препятствий. Первое — деньги. За бумагу, за печатание — за все надо платить. А денег нет. Что же делать? Выход один — искать издателя, того, кому поверят в кредит и хозяин бумажной лавки, и типографщик.

Пушкин принялся искать. А пока что, по заведенному порядку, объявил подписку на собрание своих стихотворений в двух частях и даже напечатал подписные билеты. Платите десять рублей и получайте билет. Он прикидывал барыши. Не потому, что был жаден, а потому, что видел в этом единственную возможность добиться независимости, стать самому себе хозяином, избавиться от унизительной необходимости просить денег у отца.

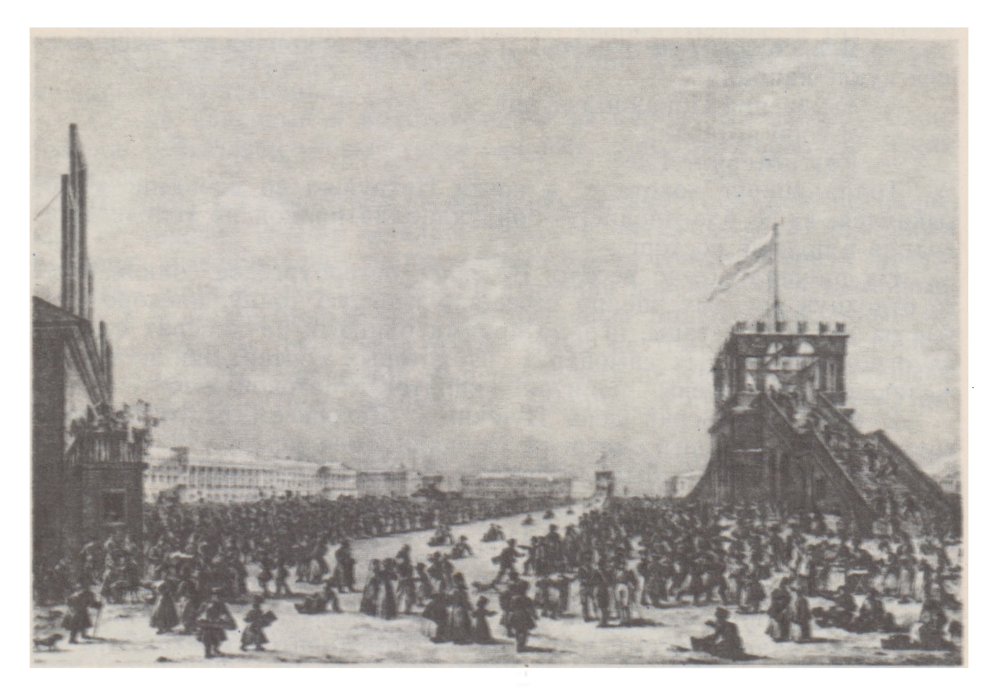
Он надеялся издать сперва свои стихотворения, потом «Руслана и Людмилу», потом. . .

Все сложилось иначе, чем он предполагал.

„Волшебный край“

На святой неделе вся обширная площадь перед Большим каменным театром была запружена народом. Балаганы, катальные горы, качели... В эти праздничные пасхальные дни простой петербургский люд веселился как мог. Кто посмелей, взбирался на дощатые катальные горы, чтобы сесть в низенькую деревянную колясочку на четырех колесах и со смехом и визгом мчаться вниз с высоты. Более степенные предпочитали качели. Любители зрелищ — балаганы.

Эй! Господа!
Сюда! сюда!
Для деловых людей и праздных
Есть тьма у нас оказий разных:
Есть дикий человек, безрукая мадам!
Взойдите к нам!



Катальные горы и балаганы.
Литография К. Беггрова по рисунку К. Сабата и С. Шифляра. 20-е годы XIX в.

Балаганные зазывалы, взгромоздившись на балкончики, приглашали почтеннейшую публику посмотреть фокусников, силачей, «монстров» — уродов, акробатов, которые «делают разные сальтомортальные воздушные скачки взад и вперед».

У петербургских обывателей глаза разбегались.

— Ферапонтыч, гляди-ко, как комедь ломают...

— Мы уж, Пафнутьич, на эти пустяки нагляделись. Да это, брат, не комедь. В комедь заманивают паяцы. Ведь комедь-то в шалаше.

— Эк нелегкая их коверкает! Что, ведь, чай, все иноземцы?

— Неужели ж, думаешь, русские? Нет, брат, нам против их не изогнуться. Эта нехристь на то и родилась...

Тут же на площади веселили народ кукольники со своим носатым Петрушкой.

— Мое вам почтение, господа, вот и я пришел сюда вас повеселить, позабавить и с праздником поздравить!

Петрушка смешно пищал, гнусавил, кланялся на все стороны, сыпал шутками и прибаутками.

— Я в солдаты не гожусь! Я с горбом! — кричал он выскочившей кукле-капралу.

— Ты врешь! Покажи, где он?

— Я горб потерял!

— Как потерял? Где?

Толпа вокруг хохотала, а когда Петрушка со словами: «Спотыкнулся, ваше благородие!» — бил капрала палкой по голове, приходила в полный восторг.

На площади было весело. Весеннее петербургское солнце, будто отдохнув за зиму, щедро освещало пеструю толпу, наскоро сбитые из досок балаганы, играло яркими бликами на киверах солдат, на огромных медных самоварах, из которых сбитенщики наливали желающим немудреный напиток — кипяток с патокой — сбитень.

В этот апрельский день Пушкин с Дельвигом долго бродили среди шумящей толпы, смотрели, слушали, смеялись.

Они уже совсем было собрались уходить, как вдруг заметили возле большого балагана, где выступал знаменитый силач, двух мальчиков-подростков. Один был в коричневом плащике, другой — в кадетском мундире. Мальчиков немилосердно толкали, но они, казалось, не чувствовали этого и провожали взглядами всякого, кто совал деньги балаганщику и проходил в его шатер. Мальчики, верно, стояли давно, потому что один из комедиантов прикрикнул на них и велел им отойти.

Услышав это, Пушкин с Дельвигом переглянулись, подошли к детям, и Пушкин сказал:

— Мы в балаган, господа. Не хотите ли с нами?

И, не дав опомниться оторопевшим подросткам, он увлек их за собой.

Лишь через много лет один из этих мальчиков узнал, что молодой человек, который водил их в балаган, был знаменитый Пушкин.

Пушкина встречали на площади, у Большого театра не только в праздничные дни.

Петербургские театры...

Как он мечтал о них! В годы его отрочества до тихого Царского Села доносился их шум и блеск. Балеты Дидло, декорации Гонзаго, несравненная Семенова... О них рассказывали чудеса. Теперь он увидел их, вступил в удивительный и волнующий край, имя которому — театр.

Летом 1817 года, когда недавний лицеист обрел долгожданную свободу, в столице действовали два публичных театра. Один — Малый, или Казасси, вблизи Невского, на отведенной ему части сада Аничкова дворца, и другой — Новый, или Немецкий. Он помещался на Дворцовой площади против Зимнего дворца. Вскоре, в 1819 году, когда начали строить грандиозное здание Главного штаба, Немецкий театр разобрали.

Самый красивый и вместительный из публичных петербургских театров — Большой — был тогда закрыт. Он отстраивался после пожара.

Пожары в Петербурге не были редкостью. То и дело по широким столичным улицам мчались обозы с бочками, а на пожарных каланчах вывешивались шары — опять где-то горело! Горели обывательские дома и казенные, горели строения деревянные и каменные. И вот в ночь под новый 1811 год загорелся Большой каменный театр. По счастью, спектакля в тот вечер не было. Здание сгорело дотла. Тогдашний директор императорских театров А. Л. Нарышкин, известный остряк, доложил по-французски приехавшему на пепелище царю:

— Ничего больше нет: ни лож, ни райка, ни сцены — все один партер.

Чтобы отстроить Большой театр, понадобилось семь лет.

Первое время Пушкину приходилось довольствоваться Новым театром (туда перенесли спектакли Большого) и театром Казасси.

Новый театр, вопреки своему названию, имел обветшалый вид. Закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, линялые декорации... Он недалеко ушел от тех сумрачных театров, в которых перед буйной толпой лицедействовал Вильям Шекспир.

В Новом театре выступали и русская и немецкая труппы.



Малый театр, или Театр Казасси, возле Аничкова дворца.
Гравюра с рисунка К. Сабата. 10-е годы XIX в.

На немецкие спектакли приходили многочисленные петербургские немцы: булочники, колбасники, ремесленники с женами и дочерьми. Трудолюбивые «муттерхены» и «танты» — мамаши и тетушки, — чтобы не терять времени, поглядывали на сцену и вязали чулки. В особо трогательных местах они снимали очки, вытирали глаза и опять брались за дело.

Деревянный Малый театр был более аристократическим. Перестроенный антрепренером Казасси из павильона Аничкова дворца, он выглядел привлекательней. Избранная публика, посещавшая его, сама заботилась об украшении лож и кресел.

Театр был удобен для публики — в нем отовсюду было видно и слышно. Об удобствах же актеров тогда не заботились. Некоторые артистические уборные в театре Казасси помещались так далеко от сцены, что воспитанникам Театрального училища, участвовавшим в балетах, приходилось бежать на сцену по коридорам, наполненным зрителями. И светские шалопаи развлекались: с мальчишек, наряженных тритонами, старались стащить парики, дергали

их за хвосты, а они, как и подобает тритонам, безмолвно вырывались из рук своих мучителей и бежали дальше.

Третьего февраля 1818 года открылся наконец и Большой театр. На фронтоне его было написано: «Возобновлен 1817 года».

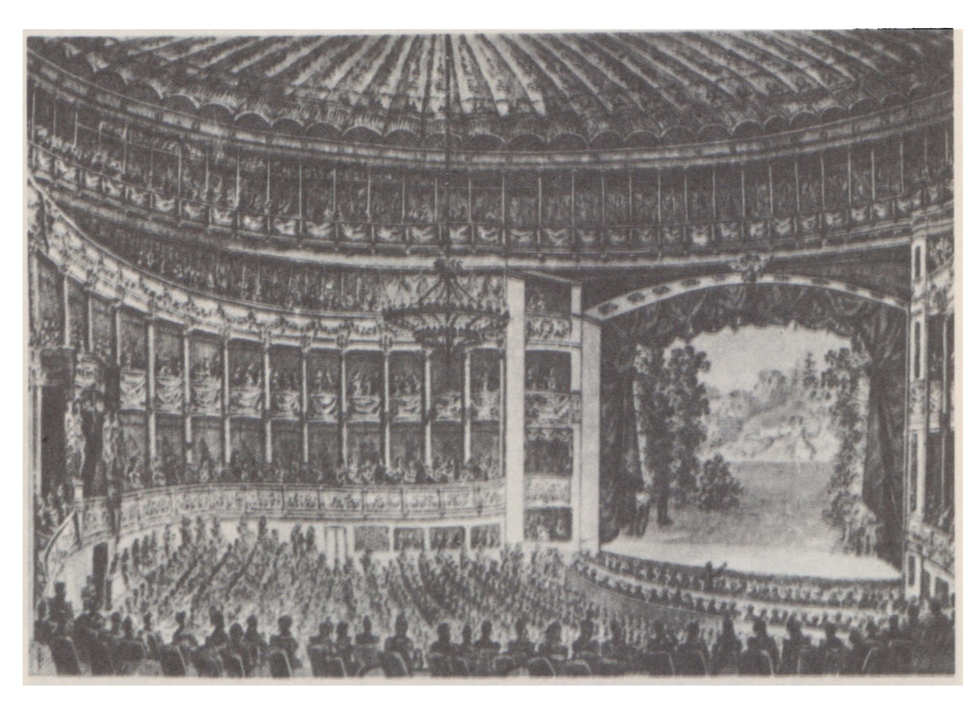
Когда с заново отстроенного здания сняли леса, когда Пушкин увидел его и вошел внутрь, он подумал, что восторженные рассказы о Большом театре не грешат против истины.

И снаружи и внутри театр был великолепен. Огромное здание с мощным колонным портиком поражало монументальностью. А зрительный зал... Пушкин не знал, на что смотреть. Роспись, лепка, позолота... Даже в тусклом свете масляных ламп богатство отделки ослепляло. В ложах ему соответствовали туалеты дам, в креслах — сверкание эполетов гвардейских офицеров. А контрастом, который еще больше подчеркивал это великолепие, служили темные плащи, заполнявшие партер.

Время близилось к шести. И хотя первые ряды абонированных



Большой театр в Петербурге.
Рисунок Б. Патерсена. 10-е годы XIX в.



Зрительный зал Петербургского Большого театра.
Гравюра С. Галактионова. 20-е годы XIX в.

кресел еще пустовали, партер и раек уже были полны. Толпа шумела, аплодировала: чувствовалось, что вот-вот начнется спектакль. И действительно, в вышине над всеми пятью ярусами в самом центре потолка вдруг открылось отверстие — и оттуда, заливая колеблющимся светом свечей весь огромный зал, спустилась зажженная люстра. Еще несколько минут — и тяжелый занавес, на котором искусной рукой художника изображены были триумфальные Нарвские ворота — напоминание о недавнем возвращении из Парижа победоносной русской армии, — дрогнул и взвился. Спектакль начался...

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

«Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только о ней», — записал вскоре Пушкин в «Моих замечаниях об русском театре».

Семенова... Он не мог забыть вечера, когда впервые увидел ее в роли Антигоны. Он столько слышал о ней, любопытство его было так возбуждено, что он боялся разочароваться. Но он не разочаровался. В тот вечер давали «Эдипа в Афинах» Озерова. Декорации Гонзаго перенесли его в Древнюю Грецию. Высокий царский шатер, вдали храм среди кипарисов, очертания прекрасного города. Афинский властитель Тезей, вельможа Креон, наперсники, воины... Звучат монологи и хоры. Стихи напевны, тягучи. Театр замер, слушает.

Но вот какое-то движение пробегает по огромному залу. В партере захлопали. Вот уже гремит весь зал. На сцену вышла Семенова. Она играет Антигону — дочь царя Эдипа. Она появляется, ведя за руку своего слепого отца. Она еще не сказала ни слова — она только вошла, но сцена как будто осветилась, как будто на рампу прибавили еще сотню масляных плошек.

Семенова ходит, говорит. Пушкин забыл, что он в театре. А когда коварные враги похищают слепца Эдипа, чтобы погубить его, и Антигона бросается за отцом, Пушкин ничего уже не видит, кроме одной Семеновой, ничего не слышит, кроме ее голоса. Нет, он видит не Семенову, он видит Антигону, слышит ее стон, ее вопль, от которого мороз продирает по коже:

Постойте, варвары! Пронзите грудь мою!
Любовь к отечеству довольствуйте свою.
Не внемлют и бегут поспешно по долине,
Не внемлют, и мой вопль теряется в пустыне.

Антигона — воплощенное отчаяние. В глазах ее мука. Она рвется из рук воинов, которые едва могут удержать ее. И тут происходит то, чего не ждут актеры, чего не должно быть по пьесе: Антигона вырывается и кидается за кулисы вслед за несчастным Эдипом. Растерявшиеся стражники бегут за ней. Сцена вопреки всем театральным правилам на какое-то время остается пустой. Но зрителям не до правил, которые нарушила актриса, поддавшись порыву охватившего ее чувства. Зрители потрясены. И когда воины выводят на под-



Гравюра Н. Уткина по рисунку О. Кипренского. 10-е годы XIX в.

мостки Антигону, высокие своды Большого театра готовы обрушиться от рукоплесканий и криков.

Антигона в «Эдипе», Моина в «Фингале», Ксения в «Дмитрии Донском» — эти главные роли в своих трагедиях Озеров писал специально для Семеновой. Для нее поэты переводили на русский язык трагедии Расина, Вольтера.

Дочь крепостной крестьянки и учителя Кадетского корпуса, который даже не пожелал дать ей свою фамилию, Семенова с детства воспитывалась в Театральной школе. Восемнадцати лет она уже не имела соперниц. «Семенова-Трагедия» — так восторженно-почтительно называли ее театралы. Свои «Замечания об русском театре» Пушкин написал для нее.



«Эдип в Афинах». Трагедия В. А. Озерова. Сцена последнего явления пятого действия.
Гравюра. 10-е годы XIX в.



Гравюра Ф. Иордана. 20-е годы XIX в.

Семенова обычно играла только в трагедиях и состояла, как тогда говорили, на амплуа «первых любовниц».

Пьесы, которые шли тогда в театре, строились по правилам-схемам и требовали от актеров определенных амплуа. Так, в труппах обязательно были первые любовники и любовницы, вторые любовники, наперсницы, благородные отцы и матери, злодеи, старые дуры и так далее.

Актеры играли в одном амплуа и в нескольких. Случалось, что актер, которого на глазах у зрителей закололи в трагедии, через несколько минут весело отплясывал в комедии. Спектакль состоял из двух, а то из трех частей. Довеском к трагедии давали маленький балет или комедию. Довеском к большому балету — водевиль.

Опустился занавес, скрыв от зрителей мрачные своды храма

богинь мщения — Эвменид, где протекало последнее действие «Эдипа в Афинах», отзвучали крики:

— Семенову! Семенову!!

Зрители едва успели обменяться впечатлениями, а занавес уже взвился — и на сцене другая жизнь. В комнате помещичьего дома заезжий светский фат и враль рассказывает небылицы молоденькой горничной:

— Так, стало, с дядюшкой служили вы во флоте?
— Ах! где я не служил!
Сперва в пехоте,
Там в коннице, а после в казаках,
И день и ночь верхом.
— Вот что! Так вы вскакали
Верхом на корабли?
— Нет... Мы на них взбежали.
— Как! по воде, пешком?
— Нет, по льду, на коньках...

Молодого враля играет Иван Сосницкий. Красивый, стройный, он копирует в своей одежде и ловких светских манерах известных петербургских щеголей. Играет увлекательно.

— А я... я — разом, живо,
Мой эскадрон с коня долой:
Охотники! За мной!
Вот вам и слава и пожива...
Все на коньки...
— Да где ж вы набрали коньков?
— Как где?.. мы их... спрямили из подков...

«Не любо не слушай, а лгать не мешай» — одна из «шумного роя» комедий, которые вывел на сцену Большого театра «колкий» Шаховской.

Репертуар Большого театра был очень разнообразен. Трагедии, комедии, водевили, мелодрамы, оперы комические, лирические, волшебные «с хором, эволюциями и великолепным спектаклем», «мифологические представления», интермедии, «исторические драмы с танцами» и наконец балеты. Нет, прежде всего — балеты. Пантомимные, волшебные, романтические, героические...

Пожалуй, ничто в Большом театре не имело для Пушкина такого очарования, как эти праздники на сцене, исполненные истинной поэзии! Именно балет вспомнил Пушкин, когда описывал в «Онегине» вечера в Большом театре:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут;
И, взвившись, занавес шумит.



К. Дидло.
Миниатюра неизвестного художника. 10-е годы XIX в.

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Неподражаемая Истомина кружит и летает по сцене, вокруг нее вьется легкий хоровод... А из-за кулис, никому не видимый в зале,

неотступно следит за ней и за всем происходящим на сцене невысокий худой старик. Он то улыбается, изгибаясь и пританцовывая, то вдруг светлые глаза его становятся злыми, лицо искажается, и он принимается яростно отстукивать такт ногой.

Вот, награждаемая аплодисментами, за кулисы вбегает счастливая балерина. Как коршун кидается к ней сердитый старик, хватает за плечи, трясет, отчаянно ругает по-французски и по-русски. А затем дает пинка в спину и выталкивает на сцену — раскланиваться. Балерина не удивлена. Она знает: маэстро Дидло вне себя — он заметил в ее танце какую-то ошибку.



Грелка для кучеров на площади у Большого театра.
Деталь литографии К. Беггрова по рисунку К. Сабата и С. Шифляра. 20-е годы XIX в.

Карл Дидло — балетмейстер петербургской труппы — был знаменит на всю Европу. В его феериях-балетах сочетались блеск и фантазия, драматизм и изобретательность. Балерины и «дансеры» — ученики Дидло — с таким совершенством передавали в танце оттенки различных чувств, что заставляли зрителей не только восхищаться грацией движений, но печалиться и радоваться.

Когда шел балет Дидло, сцена Большого театра действительно становилась «волшебным краем».

Перед восхищенными зрителями открывались чудесные картины. Дикая горная страна. Нагромождение скал, нависшие облака. Пенясь, низвергаются с высоты водопады.

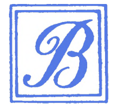
И вдруг горы раскалываются, отступают. Как по мановению волшебного жезла, на сцене вырастает великолепный дворец. По воздуху — то в одиночку, то целым роем — летают крылатые демоны, амуры, сильфы. Выезжают колесницы, запряженные живыми лебедями, чинно выступают процессии роскошно наряженных мавров, индейцев, негров:

Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно...

Нет, это не описание балета Дидло, это строки из «Руслана и Людмилы».

Когда Пушкин по утрам работал над своей сказочной поэмой, ему вспоминались чудеса «волшебного края», которые он видел накануне вечером, и это подлинное искусство вдохновляло его.

„Театра злой законодатель“



театре завязалось у Пушкина не одно интересное знакомство. Как-то летом 1817 года, сразу после Лицея, Пушкин вместе с Гнедичем проходил по рядам кресел. Вдруг Гнедич, который на первых порах по-отечески опекал его, остановился возле невысокого офицера в форме преображенца и сказал, указывая на Пушкина:

— Позвольте, любезный Павел Александрович, представить вам сего юного питомца муз. Вы его знаете по таланту. Это — лицейский Пушкин.

Так Пушкин познакомился с известным литератором, полковником Павлом Александровичем Катениным. Познакомившись, они расстались. Катенин почти год пробыл с гвардией в Москве и думать позабыл о театральном знакомстве. Но он вернулся в Петербург, и встречи с Пушкиным возобновились.

Как и все офицеры первого батальона Преображенского полка, Катенин квартировал в верхнем этаже больших казарм на углу Миллионной и Зимней канавки.

Однажды, когда он завтракал у своего однополчанина, пришел слуга и доложил, что его ждет гость — Пушкин.

— Пушкин? Граф Мусин-Пушкин?

— Нет, другой. Молоденький, небольшой ростом.

Катенин по галерее пошел в свою квартиру и в дверях увидел Пушкина. Тот, улыбаясь, протянул ему трость со словами:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

Катенин был польщен.

— Ученого учить — портить.



Бывшие казармы первого батальона Преображенского полка на углу Зимней канавки и улицы Халтурина (бывшая Миллионная).
Фотография.



П. А. Катенин.
Портрет работы неизвестного художника. 10-е годы XIX в.

Он взял Пушкина за руку и повел в комнаты. Через четверть часа они так оживленно беседовали, будто век были знакомы.

С тех пор Пушкин часто наведывался в казармы на Миллионной. Катенин заинтересовал его с первого же разговора. Разговор был о литературе. Пушкин спросил:

— Каковы вам кажутся мои стихи?

Ответ был резкий:

— Легкое дарование приметно во всем, но хорошим почитаю только одно и коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость!»

Пушкину, который уже довольно наслушался восторженных похвал, взыскательная строгость Катенина пришлась по душе. Он принес отрывки из «Руслана и Людмилы».

Катенин не все одобрил, требовал переделок. И тут он заметил



П. А. Катенин.
Рисунок Пушкина.

в Пушкине черту, которая его удивила и даже задела. Пушкин выслушивал критику, благодарил, соглашался, но... ничего не исправлял. А в ответ на упреки отшучивался. И Катенин понял, что эпизод с палкой — «Побей, но выучи» — был лишь любезной шуткой, что этот юноша учится сам, никому не позволяя водить себя на помочах. Катенин прозвал его «le jeune Mr Arouet» — «юный господин Аруэ». Аруэ — была настоящая фамилия великого скептика Вольтера. И был в этой фразе еще каламбур. Слово «Аруэ», несколько иначе написанное по-французски, означало также «лихой», «злодей».

«Злодей» не желал слушаться, но умел прекрасно слушать. И Катенин говорил. Горячо, увлекательно, пересыпая свою речь афоризмами, примерами, цитатами, которые в огромном количестве впитала его бездонная память.

По своим литературным вкусам Катенин не принадлежал ни к арзамасцам, ни к беседчикам. Он был сам по себе и дружил с Грибоедовым. Грибоедов нравился Пушкину.

«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году, — рассказывал Пушкин. — Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно». И Пушкин с удовольствием слушал, как Грибоедов с Катениным наперебой высмеивают тех сочинителей, у которых всё мечтания да вздохи, а натуры, правды ни на волос.

Но особенно любил Пушкин бывать с Катениным в театре. Они занимали кресла в первой ложе бенуара, с левой стороны. «На левом фланге».

Театр служил тогда своего рода клубом,

> Где каждый, вольностью дыша,
> Готов охлопать entrechat [1],
> Обшикать Федру, Клеопатру,
> Моину вызвать (для того,
> чтоб только слышали его).

Перед началом спектакля молодые театралы ходили по рядам кресел, переговариваясь:

— Откуда ты?

— От Семеновой! От Сосницкой! От Колосовой! От Истоминой!

— Как ты счастлив!

— Сегодня она поет, она играет, она танцует — похлопаем! Вызовем ее!

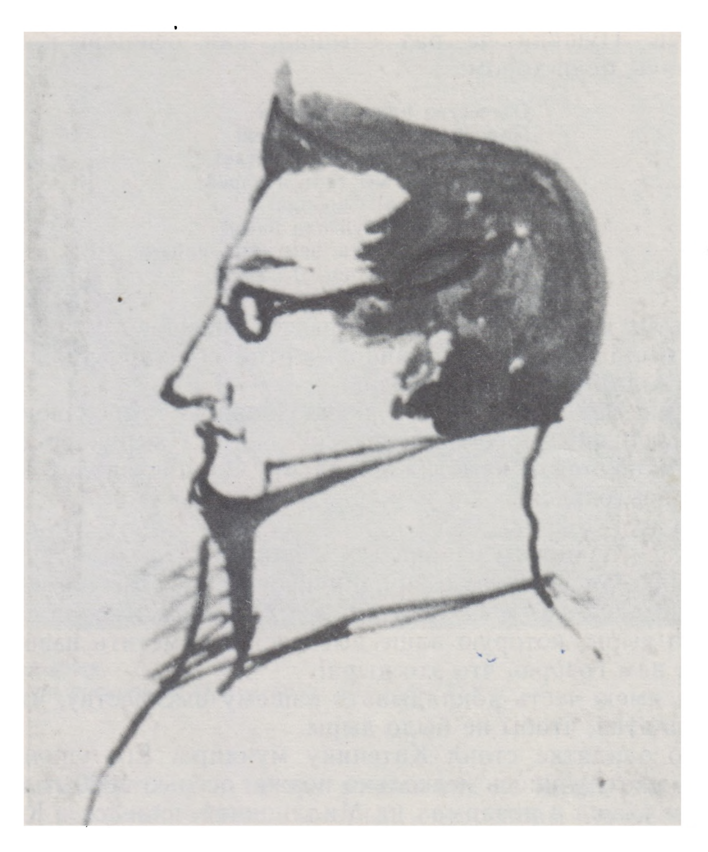
— Она так мила! У нее такие глаза! Такая ножка! Такой талант!

Пылкие, но легкомысленные ценители искусства тотчас прекращали свои излияния, когда в зал с независимым видом и гордо поднятой головой входил маленький Катенин. Он раскланивался направо и налево. Вокруг него сразу же собирался кружок желающих послушать его суждения о пьесе и об игре актеров.

Во всем, что касалось театра, Катенин был знатоком. Он сам писал и переводил для сцены. Это он, по словам Пушкина, воскресил на сцене Большого театра «Корнеля гений величавый». Обладая сценическим талантом, он обучал искусству декламации молодых актеров. Ему были известны и иноземные образцы. Во время пребывания русской гвардии в Париже он изучал игру французских знаменитостей. И молодые театралы смотрели на Катенина снизу вверх, хлопали, когда он хлопал, шикали, когда он шикал, зевали, когда он зевал.

---

[1] Entrechat *(франц.)* — антраша, особый прыжок в балетном танце.



А. С. Грибоедов.
Рисунок Пушкина.

— Дерзок и подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном и заставлять актеров и актрис искать его покровительства, — говорил о Катенине петербургский генерал-губернатор Милорадович.

Милорадович был прав в том, что к мнению Катенина прислушивались, его одобрением дорожили. Что же касается «дерзости», то она заключалась в вольномыслии.

Правительство подозревало, что этот законодатель театра состоит в Тайном обществе. И действительно. На клинке шпаги полковника Катенина был вырезан девиз: «За правду». По этому девизу узнавали друг друга члены тайного Военного общества. Катенин был

вольнодумец. Пушкин не раз слышал, как офицеры-преображенцы, собираясь, пели хором:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас...

Это были стихи Катенина. Дерзость, независимость мнений и поступков была едва ли не главной чертой его характера. Она проявлялась и в литературе, и в жизни.

Однажды великий князь Михаил Павлович производил смотр первому батальону Преображенского полка. На рукаве одного из солдат великий князь заметил заплатку. Он подозвал Катенина и, нахмурившись, спросил:

— Это что? Дыра?

Другой поспешил бы извиниться и наказать солдата. Но не таков был Катенин. На мелочную придирчивость он ответил насмешкой:

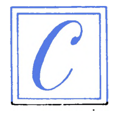
— Никак нет, ваше высочество, это заплатка; именно затем, чтобы не было дыры, которую ваше высочество заметить изволили.

— А я вам говорю, что это дыра!

— А я имею честь докладывать вашему высочеству, что именно затем и заплатка, чтобы не было дыры.

Спор о заплатке стоил Катенину мундира. Его уволили в отставку. Но это случилось несколько позже, осенью 1820 года, а пока что Пушкин бывал в казармах на Миллионной, виделся с Катениным в театре, встречался в тех театральных домах, куда Катенин ввел его. Чаще всего — на «чердаке» у Шаховского.

На „чердаке" у Шаховского



пектакли в Большом театре кончались рано — часов около девяти. И чуть ли не каждый вечер, выйдя из театра на площадь и садясь на извозчика, молодые театралы кричали одно и то же:

— Во Вторую Подьяческую, пошел!

Минут через десять, а то и меньше, в зависимости от того, как бежала лошадка, извозчик останавливался на Второй Подьяческой возле дома, принадлежавшего статскому советнику Клеопину.



Щеголь в дрожках.
Литография по рисунку А. Орловского. 20-е годы XIX в.

Статский советник к театру отношения не имел. Но в его доме, в третьем, верхнем, этаже, который острословы прозвали «чердаком», жил князь Александр Александрович Шаховской — неотъемлемая принадлежность петербургского театра.

Шаховской был драматургом, режиссером, профессором сценического искусства. Из года в год на сцене Большого театра шли в его постановке его многочисленные пьесы, в которых играли его ученики.

К Шаховскому и устремлялись писатели, художники, актеры, ценители талантов. Те, кто любили театр, умно и красно говорили о нем, выдавали устные дипломы на звание «почетного гражданина кулис», воздвигали и низвергали театральные кумиры.

«Чердак» был как бы главным штабом петербургских театралов.

Сюда Катенин привез однажды Пушкина.

Пушкин слышал о «чердаке» и сам хотел там побывать. Но арзамасскому Сверчку, казалось, не так-то просто явиться к беседчику «Шутовскому», которого он высмеивал и устно и письменно, на которого написал эпиграмму.

Еще недавно в Лицее Пушкин пылал ненавистью к автору «Липецких вод», посмевшему задеть самого Жуковского, звал его клеветником и твердил с чужого голоса, что интриги Шаховского свели в могилу поэта Озерова.

Теперь... Теперь Пушкин смотрел на многое уже иными глазами. «Шумный рой» комедий Шаховского не привел его в восторг, но он не мог не признать, что рассыпанные в них насмешки над плаксивой чувствительностью Карамзина и «страшными» мечтаниями Жуковского не так уж несправедливы. Да и Шаховской изменился. Пушкин слышал, что он публично извинился перед Жуковским за свои выходки против него. «Беседа» скончалась. Время сгладило



Дом № 12 по Малой Подьяческой улице, где жил А. А. Шаховской. *Фотография.*

обиды. И даже дядя Василий Львович, которого тоже уколол Шаховской, уже говорил о нем без прежней дрожи в голосе.

И Пушкин обрадовался, когда однажды Катенин передал ему приглашение Шаховского побывать на «чердаке».

— Во Вторую Подьяческую!

И вот он стоит перед домом Клеопина и смотрит, задрав голову, на небольшие ярко освещенные окна «чердака»...

Шаховской встретил его в дверях — огромный, безобразный, с чудовищным животом — и приветствовал неожиданно тонким голосом, который совершенно не вязался с его необъятной фигурой. Он улыбался, раскланивался, весь лучился радушием. Крохотные глазки хитро поблескивали. Забавно глотая и перевирая слова (когда он торопился, то не выговаривал половины букв алфавита), Шаховской сказал, что слышал отрывки из «Руслана и Людмилы». И ему, страстному любителю святой Руси, они необыкновенно понравились. Выложив Пушкину весь запас комплиментов, он повел его представлять своим гостям.

Когда поздно ночью Пушкин с Катениным возвращались от Шаховского, между ними произошел разговор, который почти слово в слово запомнился Катенину. Говорили по-французски. Пушкин сказал:

— Знаете ли, он, в сущности, очень хороший человек. Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было.

— Вы это думали, однако, — возразил Катенин, — это писали и распространяли — вот что плохо.

— К счастью, никто не прочел этого школьного бумагомарания; вы думаете он знает что-нибудь о нем?

— Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом.

— Тем лучше; поступим, как он, и никогда не будем больше говорить об этом...

В апреле 1819 года Василий Львович Пушкин писал в Варшаву Вяземскому: «Шаховской... мне сказывал, что племянник мой у него бывает почти ежедневно. Я не отвечал ни слова, а тихонько вздохнул».

Правоверный арзамасец Василий Львович не напрасно вздыхал. Его племянник действительно свел прочное знакомство с Шаховским.

«Чердак» пришелся Пушкину по душе. И прежде всего тем, что не был похож на обычные светские салоны. Скорее он напоминал своеобразную мастерскую, где изготовлялись пьесы, актеры и даже целые спектакли.

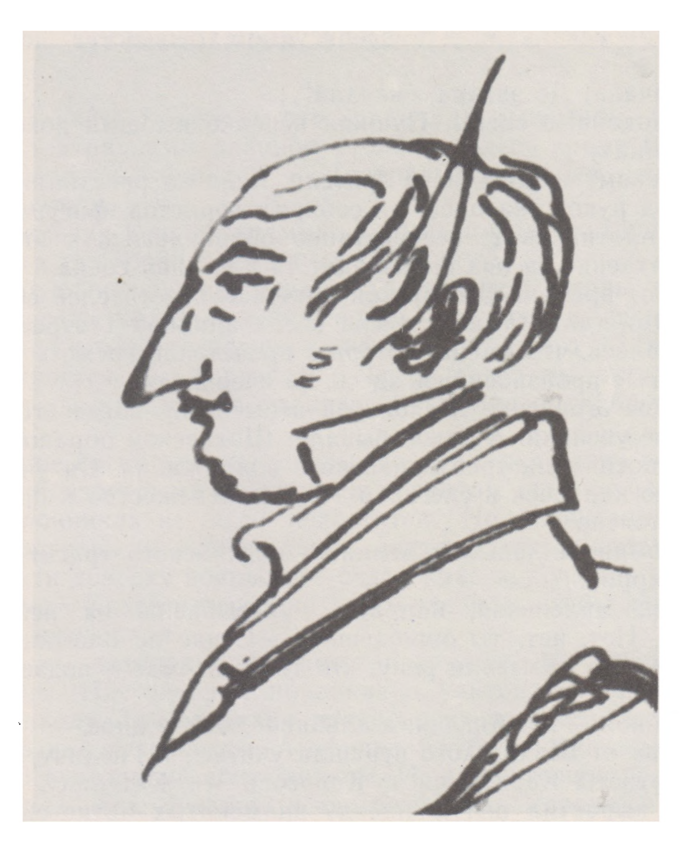
Шаховской, Грибоедов усаживались где-нибудь в уголке и обсуждали план своей будущей комедии. «И вшестером, глядь,



А. А. Шаховской.
Гравюра. 20-е годы XIX в.

водевильчик слепят...» — как смеялся потом Грибоедов в «Горе от ума». Если не вшестером, то вдвоем и втроем здесь «лепили» водевильчики.

Здесь и репетировали их. Шаховской из драматурга преображался в режиссера. Репетиции на «чердаке» стоили любого спектакля. Главную роль в них играл, конечно, сам Шаховской. Вся мимика действующих лиц отражалась на его лице. Он готов был плакать от умиления и восторга, если актер, а тем более актриса, выполняли в точности то, чего он хотел. Но если не могли выполнить... Тут начиналось нечто страшное. Разгневанный режиссер приходил в неистовство. Он кричал, воздевая руки к небу, рвал на себе волосы, которые, кстати сказать, весьма скудно обрамляли его лысый череп.



А. А. Шаховской.
Рисунок Пушкина.

— Ты, миленькая, дурища, — кричал Шаховской молоденькой актрисе, — уха у тебя нет, где у тебя размер стиха?! В прачки тебе идти надо было!

— Опять зазюзюкал, миленький! — набрасывался он на другую жертву. — Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь? Раскрывай рот...

Шаховской способен был в припадке комического отчаяния грохнуться в ноги кому-нибудь из актеров и жалобно запричитать:

— Господи, за что ты меня наказываешь! Господи, помилуй меня, грешного!

Затем он вскакивал и в неописуемом бешенстве вопил диким голосом:

— Сначала! До завтра, сначала!..

Видя подобные сцены, Пушкин нередко выбегал хохотать в соседнюю комнату.

Шаховскому нужны были зрители. Если на репетициях в театре не было под рукой знатоков, он собирал хористов, фигурантов, ламповщиков, плотников и, беспрестанно оборачиваясь к ним, следил, какое впечатление на них производит та или иная сцена.

Время от времени Шаховской потчевал посетителей своего «чердака» новыми талантами из числа воспитанников Театральной школы. И случалось, что имена, которым предстояло греметь на русской сцене, впервые произносились здесь, на «чердаке».

Жестокое огорчение Шаховской испытывал, когда его покидали талантливые ученики. А такое бывало. Шаховской обращался с учениками деспотически, требуя рабского подражания. Он учил их, как учили пению канареек и снегирей. А видя невежество и промахи, замечал язвительно:

— Запомни, миленький: великого английского трагика звали не Рюрик, а Гаррик.

— А ты, миленькая, напрасно указываешь на небо, говоря о Стиксе... Нет, нет, ты ошибаешься — Стикс не олимпийский бог. Стиксом древние называли реку, что течет в Аиде — подземном царстве мертвых.

— Альбион — это Англия, а альбинос совсем иное.

Семенова от Шаховского перешла учиться к Гнедичу, юные трагические артисты Каратыгин и Колосова — к Катенину. И все же Шаховской вырастил целую плеяду знаменитых артистов, главным образом комических, которые начинали в его пьесах и частенько дебютировали здесь, на «чердаке». Как режиссером, так и писателем Шаховской был неутомимым. Нередко кто-нибудь любопытствовал:

— Скажи, пожалуйста, князь, когда ты находишь время сочинять что-нибудь? По утрам у тебя народ, перед обедом репетиция, по вечерам всегда общество, и прежде второго часа ты не ложишься — когда же ты пишешь?

— Он лунатик, — отвечала, смеясь, жена Шаховского, — не поверите! Во сне бредит стихами. Иногда думаешь, что он тебе что-нибудь сказать хочет, а он вскочил, да и за перо — подбирать рифмы...

Эта одержимость театром, эта полная поглощенность им и привлекала Пушкина в Шаховском. Пушкин даже мечтал написать роман из петербургской жизни и вывести в нем «чердак» и его хозяина.

„Талантов обожатель страстный“

а часть Коломны, что граничила с центром, была самым театральным районом столицы. Здесь кроме Большого театра находилась и Театральная школа, жили многие актеры.

Театральная школа занимала целый дом на Екатерининском канале — дом, так хорошо знакомый Пушкину.

В любую погоду под окнами Театральной школы вышагивали, как на часах, молодые гвардейские офицеры и светские дэнди. Они с надеждой поглядывали на окна третьего этажа, ожидая, не приоткроется ли форточка и не вылетит ли оттуда, кружась на ветру, долгожданная записка, торопливо набросанная милой рукой.

Старшие воспитанницы школы, которые уже давно выступали на сцене, были взрослыми девушками и притом прехорошенькими. Так что в поклонниках не было недостатка. Но воспитанниц держали строго. Дортуары их помещались в верхнем, третьем этаже, окна которого почти доверху покрывала белая краска. Суровая надзирательница госпожа Казасси неукоснительно следила, чтобы девушек одних никуда не выпускали.

Казалось, затворниц невозможно увидеть. Но влюбленные изобретательны. Настойчивые поклонники ухитрялись проникать даже в самую школу. То под видом портновских подмастерьев, то как полотеры, то как трубочисты. А офицер Якубович однажды явился на репетицию переодетый сбитенщиком. И, к изумлению воспитанников, не узнавших его, угощал всех бесплатно горячим шоколадом, бриошами, конфетами.

Единственным местом, куда беспрепятственно пускали посторонних, была школьная церковь. Сюда по праздникам ходили и родители Пушкина. Сюда ходил и он сам в надежде поближе увидеть «очаровательных актрис». Время от времени его сердце задевала какая-нибудь из них, и тогда он тоже прогуливался по Екатерининскому каналу, принимая картинные позы и живописно закидывая на плечо свой широкий плащ.

В двух шагах от Театральной школы на Екатерининском канале стоял дом, который театральная дирекция снимала у англичанина купца Голидея. В первом этаже этого дома помещалась типография, где печатали пьесы и театральные афиши, во втором и третьем жили актеры и театральные чиновники. Пушкин приходил сюда к своим знакомым актерам. Чаще всего — к Колосовым.



Набережная канала Грибоедова (бывший Екатерининский) у Львиного мостика. В доме № 93 (третий слева) помещалось Театральное училище *Фотография.*

Обе Колосовы, и мать и дочь, были актрисами. Мать — балетной, дочь — юная Сашенька, только что окончившая Театральную школу, — драматической. Пушкин знал Колосовых и раньше. Они встречались на «чердаке» Шаховского и у общих знакомых.

Однажды у приятельницы своей матери, графини Ивелич, Пушкин увидел забытый Сашенькой Колосовой альбом. Альбом был презабавный — исписанный и изрисованный хозяйкой и ее подругами, украшенный росчерками — «пробами пера», стихами, карикатурами, рожицами. Пушкин листал, смеялся и упросил графиню Ивелич дать ему на время альбом, чтобы он мог вписать туда стихи.

Он всячески старался привлечь внимание хорошенькой девушки и как-то на пасху в церкви Театральной школы, заметив, что Сашенька Колосова молится со слезами на глазах, сказал сестре:

— Передай, пожалуйста, мадемуазель Колосовой, что мне больно видеть ее слезы. Ведь Христос воскрес. К чему же плакать?

Прошло немного времени, и Пушкин стал частым гостем в маленькой актерской квартирке. «Мы с матушкой, — рассказывала младшая Колосова,— от души полюбили его. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, «Саша Пушкин», бывая у нас, смешил своею резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гаруса в моем вышиванье, разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкою.

— Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна. — Перестань, наконец!

Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозилась наказать неугомонного Сашу: «остричь ему когти» — так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти.

— Держи его за руку, — сказала она мне, взяв ножницы, — а я остригу!

Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас».

Он не раз веселил и мать и дочь своими забавными выходками. После горячки, чтобы скрыть бритую голову, а больше из озорства, Пушкин завел парик, который часто употреблял не по назначению. Как-то он с Колосовыми был в ложе Большого театра. Давали чувствительную пьесу. Некоторое время Пушкин сидел спокойно, но



А. М. Колосова.
Гравюра Фреми. 1821 г.

вдруг в самом патетическом месте он, жалуясь на жару, снял с себя парик и принялся им обмахиваться, как веером. В соседних ложах засмеялись. В партере тоже. Колосовы, видя, что на их ложу обращено всеобщее внимание, стали утихомиривать шалуна. Тогда Пушкин сполз со стула на пол, уселся там, нахлобучил парик, как шапку, и до конца спектакля просидел на полу, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров.

В середине декабря 1818 года на сцене Большого театра состоялся дебют Сашеньки Колосовой. Она дебютировала в роли Антигоны, в той самой роли, в которой с таким блеском выступала Семенова. Пушкин был на спектакле и описал игру Колосовой:



А. М. Колосова.
Рисунок Пушкина.

«В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно, частая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплескания не прерывались. По окончании трагедии она была вызвана криками исступления, и когда г-жа Колосова большая Filiae pulchrae mater pulchrior[1] в русской

[1] Прелестной дочери прелестнейшая мать (*лат.*).

НА БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.

Сего дня въ Понедѣльникъ 16 Декабря Россійскими Придворными Актерами представленъ будетъ для перваго дебюта г-жи Колосовой м. дочери Танцовщицы г-жи Колосовой

ЭДИПЪ ВЪ АФИНАХЪ,

Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ въ стихахъ, соч. В. А. Озерова; съ принадлежащими къ ней хорами; музыка соч. О. А Козловскаго.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Тезей, Царь Афинскій - - Г. *Брянской.*
Эдипъ, бывшій Царь Ѳивскій - Г. *Борецкій.*
Антигона, дочь его - - Г жа *Колосова м.*
Полиникъ, сынъ его - - Г. *Щениковъ.*
Креонъ, Посланникъ Этеокла, Царя Ѳивскаго - - - Г. *Толченовъ.*
Нарцесъ, наперсникъ его - Г. *Окуневъ.*
Первосвященникъ храма Эвменидъ Г. *Глухаревъ.*
Афиняне - - - Г. *Иконинъ.*
- - - Г. *Хотяинцовъ.*
Жрецы, народъ Афинскій, стража Тезея и воины Креоновы.

За оною послѣдуетъ

ЦЫГАНСКОЙ ТАБАРЪ,

Новый большой дивертиссементъ съ хорами, составленный изъ разно-характерныхъ танцовъ и плясокъ; въ которомъ будутъ танцовать: по Руски г. Огюстъ съ г-жей Колосовой.б.; Козацкой танецъ: г Эбергардъ съ г-жею Истоминой, Козаки: г-да Артемьевъ, Гольцъ, Трифановъ и Турикъ; Козачки: г-жи Дюмонъ, Щербакова, Нумбри и Горнышева м.; новую Цыганскую пляску въ пятеромъ, съ акомпаниментомъ хора Цыганей и съ принадлежащими къ сей пляскѣ инструментами: г. Пальниковъ съ г-жами Карачинцовой, Яныщевой, Тарновской и Пискуновой.

Начало въ 6 часовъ

Афиша спектакля «Эдин в Афинах», шедшего на сцене Большого театра 16 декабря 1818 г. (дебют А. М. Колосовой).

одежде, блистая материнскою гордостью, вышла в последующем балете, все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример единственный в истории нашего театра».

Дебют прошел блестяще, и Пушкин радовался этому.

Но недаром он был приятелем Катенина. Заметив вскоре недостатки в игре Колосовой, он не смолчал. «Милый шалун» умел быть строгим критиком. «Если Колосова... исправит свой однообразный напев, резкие вскрикивания и парижский выговор буквы р, очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене, если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными, если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису — не только прелестную собою, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием. Красота проходит, таланты долго не увядают».

Театральный мир был сложным миром, где хитро переплетались любовь к искусству и зависть, уважение к талантам и интриги. И вот кому-то понадобилось поссорить поэта и актрису.

Пушкину передали, что будто бы младшая Колосова смеялась над его внешностью и называла его мартышкой. Это была неправда, но Пушкин поверил. Он знал, что некрасив, и нелестные отзывы о его внешности больно задевали его. Сгоряча он написал на Колосову эпиграмму:

Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!

Это не пренебрежение барчука к «актерке». Это месть поэта хорошенькой девушке.

Пушкин не считал актеров людьми низшего сорта, как это было принято в светском обществе. Актеров там презирали, ставя на одну доску с лакеями и горничными. Кто такие актеры, даже те, что состоят в императорской труппе? Живые вещи императора. Привилегированные скоморохи, которые за деньги развлекают публику. Их нельзя ругать в театральных рецензиях, они — императорские. Но на этом их привилегии и кончаются. Их можно оскорблять,

запугивать, наказывать и даже за непослушание сажать в Петропавловскую крепость.

Да, вне сцены актеры ничто. Но на сцене... Разве не по их воле смеется и плачет каждый вечер собравшаяся в огромном зале толпа? Разве не благодаря им уравниваются на несколько часов генералы и лакеи, министры и писцы и, независимо от звания, превращаются в одно — публику? И разве все не молчат и не забывают свое имя, когда звучит голос актера и существует его имя, которое с восторгом выкрикивает толпа?

Пушкин сам избрал поприще художника и видел в актерах собратьев по искусству. Сцена для них была тем, чем для него должна была стать поэзия — не развлечением на досуге, не занятием от нечего делать, а всей жизнью. И высоким творчеством, и куском хлеба. И не личные симпатии руководили им, когда он судил об актерах, а забота о русском искусстве. Размышляя о нем, он написал «Мои замечания об русском театре» — суждение о петербургских актерах и петербургской публике.

Ведь именно публика формирует сценические таланты. Что же публика Большого театра?

Малое число ее, лишь те, кто теснится в партере — стоячих местах за креслами, судит здраво и с пониманием. А остальные... «Трагический актер заревет громче, сильнее обыкновенного, — оглушенный раек приходит в исступление, театр трещит от рукоплесканий».

Раек снисходителен и невежествен.

А кресла? Те, кто в половине седьмого приезжает в театр из казарм, из Государственного совета, чтобы занять первые ряды абонированных кресел? «Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости... сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души, если природа одарила их душою?»

Спесивые зрители первых рядов кресел невежественны и равнодушны к искусству. Особенно русскому.

И напрашивался вывод: для процветания сценического искусства нужна другая публика.

А чтобы публика стала другой... Но такие вопросы уже далеко уводили за пределы театра и обсуждались не в театральных статьях.

При свете зеленой лампы



Это письмо Пушкин запечатал особым образом. Нагрел сургуч, снял с руки кольцо и приложил как печать. На сургуче оттиснулась крохотная лампа-светильник, наподобие древнегреческих.

Письма, так запечатанные, посылал Пушкин не всем. Только тем, у кого имелось точно такое же кольцо с изображением лампы. Такие кольца носили Дельвиг, Гнедич, поэт Федор Глинка и еще человек двадцать в Петербурге. Те, кто состояли в обществе «Зеленая лампа».

Однажды длинный фургон, который развозил с репетиции воспитанников Театрального училища, проезжал по Екатерингофскому проспекту недалеко от Большого театра. Когда фургон поравнялся

Дом № 35 по проспекту Римского-Корсакова (бывший Екатерингофский), где жил Н. В. Всеволожский.
Фотография.

с угловым трехэтажным домом, где у раскрытого окна стояли двое молодых людей, один из старших воспитанников — Дембровский — заулыбался и стал усердно кланяться. Молодые люди в окне закивали ему в ответ. А тот из них, что был ниже ростом и смуглый, вдруг сдернул с себя парик и замахал над головой.

Воспитанники знали, что в этом доме живет камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволожский, сын известного богача, «петербургского Креза». Он был завзятым театралом. Ну, а другой, смуглый?

— Кто этот господин? — спросили у Дембровского.

— Сочинитель Пушкин, — ответил тот с гордостью. Он восхищался стихами Пушкина и очень гордился тем, что знаком с ним лично.

Дембровский был скромным «фигурантом» — артистом балета. Никиту Всеволожского он учил танцевать и встречал у него Пушкина.

Пушкин и Всеволожский были приятелями. Они познакомились на «чердаке» у Шаховского и понравились друг другу. Пушкин входил в известность, а это множило число его приятелей, которым было лестно упомянуть при случае о своем знакомстве с ним, прочитать его новые эпиграммы, пересказать его остроты.

Такие приятели после двух-трех встреч и двух-трех бокалов шампанского уже говорили ему «ты», зазывали к себе и просили его стихов. «Минутной младости минутные друзья...» По словам Пушкина, Всеволожский был лучшим из них.

Молодой родовитый богач, щедро осыпанный всеми милостями фортуны, Всеволожский вел привольную жизнь, деля свое время между всяческими удовольствиями. В доме на Екатерингофском, который снимал его отец, ему была предоставлена роскошная квартира. И здесь задавались пиры, рекой лилось шампанское и в обществе актеров и актрис напропалую веселилась и повесничала молодежь. Собирались по субботам, в день, когда не было спектаклей.

О пиршествах у Всеволожского знал весь Петербург. Но почти никто не знал, что в этом же доме бывают и другие сборища.

Раз в две недели слуга Никиты Всеволожского — скуластый мальчик-калмык — впускал в его квартиру гостей с бумагами и книгами. Негромко разговаривая, они проходили в одну из зал, где с потолка свешивалась лампа зеленого цвета, и там рассаживались у круглого стола.

Это собирались члены общества «Зеленая лампа». Те, кто носил кольцо с изображением светильника, кто дал клятву хранить тайну собраний.

Их общество было «негласным». О нем не знало правительство. Они обходили закон, который предписывал всякому обществу, преж-



Н. В. Всеволожский.
Портрет работы О. Дезарно. 1817 г.

де чем собираться, испрашивать разрешение у властей. А они не испрашивали, потому что хотели свободы. Они хотели говорить, не боясь соглядатаев. Говорить обо всем.

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного.
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

Так писал об их беседах Пушкин.

У них была причина таиться. Невинное название «Зеленая лампа» имело скрытый смысл. Лампа обозначала свет, в противоположность тьме, мракобесию. Зеленый цвет считался цветом надежды. Их девиз гласил: «Свет и надежда».

На что же они надеялись, эти молодые конспираторы?

В конце декабря 1819 года, на тринадцатом заседании «Зеленой лампы», член общества Александр Улыбышев читал свое сочинение. Это был тот самый Улыбышев, который написал «Разговор Бонапарта с английским путешественником».

На этот раз его рукопись называлась «Сон».

Начал он шутливо. Из всех видов суеверия, пожалуй, самое безобидное — толкование снов. В снах действительно есть что-то пророческое, обнадеживающее. Так, например, тщеславному снится, что его наградили орденом; несчастно влюбленному — что возлюбленная к нему благосклонна. Но сны питают не только эгоистические страсти. Патриот, друг человечества, может увидеть во сне воплощение своей мечты.

— Таков был мой сон в прошлую ночь; он настолько согласуется с желаниями и мечтами моих сотоварищей по «Зеленой лампе», что я не могу не поделиться с ними.

Так закончил Улыбышев свое вступление и изысканно поклонился в сторону присутствующих. Он сделал паузу. Все уселись поудобнее и приготовились слушать, заинтригованные столь многообещающим началом, а Улыбышев продолжал:

— Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но все до того изменилось, что мне было трудно узнать их.

Это было путешествие по будущему Петербургу, Петербургу через триста лет. Улыбышев вел слушателей за собой, как Вергилий вел Данте, но вокруг был не ад, а рай.

Город изменился до неузнаваемости. Из гвардейского солдата он превратился в ученого и художника. Исчезли бесчисленные казармы. Их место заняли академии, школы, библиотеки. Изменили свое назначение и царские дворцы. На Михайловском замке горела золотом надпись: «Дворец Государственного собрания». А Аничков дворец превратился в Русский Пантеон. Сквозь его огромные окна можно было разглядеть бюсты и статуи тех, кто прославился своими талантами или заслугами перед отечеством.

— Я тщетно искал, — как бы вскользь заметил Улыбышев, — изображение теперешнего владельца дворца.

Он имел в виду великого князя Николая Павловича, будущего царя Николая I.

Все было необычайно в этом новом Петербурге. На месте Александро-Невской лавры, которой заканчивался Невский проспект, стояла триумфальная арка, «как бы воздвигнутая на развалинах фанатизма».

— Я был потрясен всем тем, что видел, — рассказывал Улыбышев, — и по необъяснимой, но частой во сне непоследовательности

забыл вдруг свое имя, свою страну, и почувствовал себя иностранцем, впервые прибывшим в Петербург.

И тогда мнимый иностранец обратился за разъяснениями к величавого вида старцу, украшенному какими-то знаками отличия. И тот ему объяснил. что в России произошли «великие события» (понимай — революция).

— Великие события, — рассказывал старец, — вознесли нас на первое место среди народов Европы.

В некогда отсталой России процветали теперь литература, искусство, земледелие и промышленность. Огромные средства, которые раньше тратились на содержание регулярной армии — «этих бесчисленных толп бездельников», теперь шли на пользу народу. Регулярной армии не было. Каждый гражданин стал героем. Все несли по очереди военную службу. Регулярная армия — эти леса, поддерживающие деспотизм, рухнули вместе с ним. Царь утратил былую власть. Во Дворце Государственного собрания заседал парламент. Другим стал и герб страны. Хищного двуглавого орла сменил символ обновления — феникс с мирной оливковой ветвью.

Старец повел своего спутника по новому Петербургу, во Дворец Правосудия, на другой берег Невы. Туда был перекинут великолепный мост из гранита и мрамора.

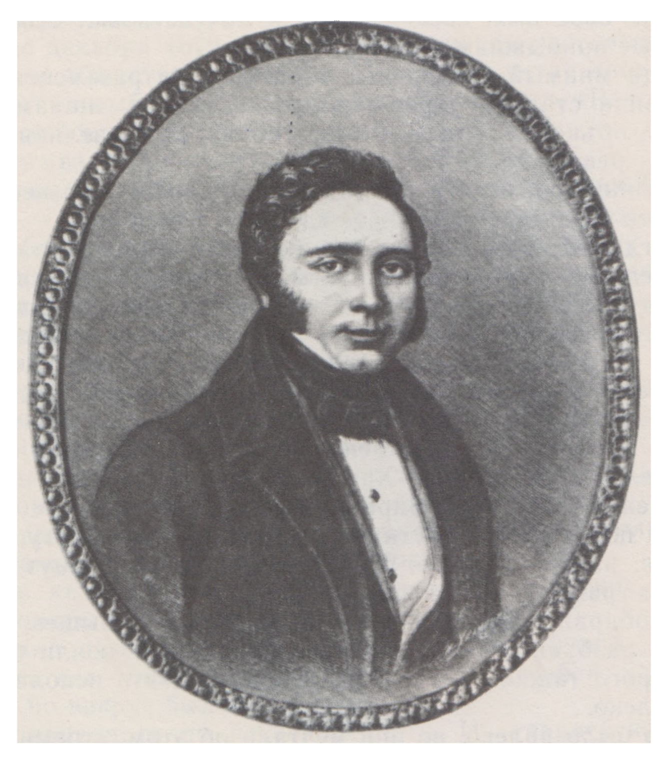
— Я собирался перейти мост, — говорил Улыбышев, — как внезапно меня разбудили звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал, что исполнение моего сна еще далеко...

Да, это было далеко, но они мечтали об этом, стремились к этому и старались по мере сил приблизить лучшее будущее.

При свете зеленой лампы молодые гусары, уланы, егеря превращались в историков, политиков, поэтов, театральных рецензентов. Театр любили все. И все любили стихи Пушкина. Ждали их с нетерпением, восторженно называя его «владыкой рифмы и размера». На одном из заседаний общества председатель его, офицер лейб-гвардии Павловского полка Яков Толстой, читал свое послание к Пушкину:

Открой искусство мне столь сладко
Писать, как вечно пишешь ты,
Чтоб мог изображать я кратко
И сохранял бы красоты...
В моих стихах излишеств слога
Резцом своим ты отколи
И от таланта хоть немного
Ты своего мне удели!

Когда после собраний из зала с зеленой лампой переходили в столовую, где ждал роскошный ужин, красивые рослые гвардейцы



Я. Н. Толстой.
Гравюра с неизвестного оригинала. 10-е годы XIX в.

подсаживались к невысокому курчавому юноше, который не без рисовки называл себя в стихах «потомок негров безобразный», и выпрашивали послания.

Особенно настойчив был Яков Толстой. Он не отставал до тех пор, пока не получил согласия.

Пушкин сдержал слово — написал «Стансы Толстому». Получили от него послания Никита Всеволожский, Юрьев и другие товарищи по «Зеленой лампе». Послания бесшабашные, лихие, где рядом со словом «свобода» непременно «вино» и «любовь». «Многие тогда сами на себя наклепывали, — рассказывал член «Зеленой лампы» поэт Федор Глинка, он был постарше Пушкина. — Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным; придет, бывало, в собрание, в общество и расшатывается. «Что вы, Александр Сергеевич?» — «Да вот

выпил двенадцать стаканов пуншу!» А все вздор, и одного не допил». Такое наклепывание есть и в посланиях к «минутным друзьям», сотоварищам по «Зеленой лампе».

Не ужины с шампанским привлекали Пушкина в дом на Екатерингофском проспекте, а возможность поговорить по душам с интересными умными людьми. В этом состояла прелесть тайных собраний:

Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья...

Их старались сделать друзьями прекрасного в самом высоком смысле этого слова. Невидимые нити связывали «Зеленую лампу» с домами Никиты Муравьева, Ильи Долгорукова, братьев Тургеневых. Если бы Пушкин мог прочесть донос на Тайное общество, который был подан царю, он узнал бы, что «Зеленая лампа» служила как бы подготовительным отделением Союза Благоденствия, его «побочной управой». В доносе говорилось, что члены, приготовляемые для общества, «составляли побочные управы... назывались для прикрытия разными именами («Зеленая лампа» и пр.) и под видом литературных вечеров или просто приятельских обществ собирались как можно чаще».

Установители «Зеленой лампы» — Яков Толстой, Федор Глинка, Сергей Трубецкой – действовали по поручению Союза Благоденствия, но держали это в тайне.

„Верно, это ваше общество в сборе?“

Пушкин давно подозревал, что Тайное общество существует. Более того — был почти уверен, что друг его Пущин состоит в таком обществе. И не ошибался.

Летом 1817 года офицер штаба Гвардейского корпуса Иван Бурцев действительно принял Ивана Пущина в тайный Союз Спасения.

«Первая моя мысль, — рассказывал Пущин, — была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (respublica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых по-



А. С. Пушкин.
Автопортрет. 1820 г.

рывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою».

Так бы и случилось, конечно, если бы Пушкин на летние месяцы не уехал в Михайловское.

Когда же он вернулся, первый порыв Пущина поостыл, его сменили раздумья. Пушкин мыслит, как и он, но достаточно ли этого, чтобы привлечь его в Тайное общество? Для члена такого общества первое дело — осторожность. Малейшая ошибка — и все может погибнуть. Способен ли Пушкин по свойствам своего характера стать хорошим конспиратором, неукоснительно хранить тайну?

Пущина мучили сомнения. «Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня», — признавался он. И молчал.

Но не так-то легко было таиться от Пушкина. Он слишком хорошо знал друга и, заметив в нем перемену, для других неуловимую, заподозрил истину. Он допытывался, спрашивал. Пущин отшучивался или менял разговор. «... Во время его болезни и продолжительного выздоровления, видясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокоивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели», — рассказывал Пущин.

Но Пушкин не успокаивался и не оставлял подозрений. Раз было похоже, что Жанно попался.

Как-то вечером, зайдя случайно к Тургеневым, Пушкин услышал, что из комнаты Николая Ивановича раздаются голоса. Он приоткрыл дверь, заглянул. Вокруг большого стола сидели несколько человек. Один что-то читал, другие слушали, изредка прерывая его чтение вопросами.

Среди собравшихся Пушкин увидел знакомых. Здесь был Куницын — их лицейский профессор, гвардейские офицеры Бурцев и Колошин. Ба, да здесь и Пущин!

Пушкин тихонько вошел, тронул Пущина за плечо.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он шепотом. — Наконец-то я поймал тебя на самом деле!

Он не мог дождаться, пока окончится чтение, а когда оно окончилось, напустился на Пущина:

— Ты как сюда попал? Ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем! Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!

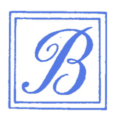
Пушкин был уверен, что наконец-то узнает все. Но не тут-то было. Жанно и бровью не повел. Он спокойно ответил, что это действительно общество, только не тайное, а журнальное. Все, кто здесь присутствуют, сотрудники будущего журнала, который Николай Иванович задумал издавать. Пущин говорил так спокойно, что нельзя было не поверить.

И все же Пушкин знал: Тайное общество существует. И Жанно состоит в нем. Но почему он таится? Почему?

А Пущин едва сдерживался, чтобы не взять друга за руку и с открытой душой не рассказать обо всем. Он мучительно думал: «Не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависит, принять или отвергнуть мое предложение. Но почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думает об этом?»

Пущин ошибался: старшие члены думали. И в Петербурге, и позднее, на юге. Сын декабриста Сергея Григорьевича Волконского рассказывал, что его отцу было поручено принять Пушкина в Тайное общество и что отец не исполнил поручения. «Как мне решиться было на это, — говорил Сергей Волконский, — когда ему могла угрожать плаха».

„В чаду большого света“



предисловии к первой главе «Евгения Онегина» Пушкин писал: «Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года...»

Пушкин описывал светскую жизнь не понаслышке. Он сам был петербургским молодым человеком, который хорошо узнал свет.

Брат его Лев рассказывал: «По выходе из Лицея Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны».

Даже самые близкие друзья, такие, как Пущин, не одобряли Пушкина за его кружение в свете, за то, что не отдавался он в тишине своему поэтическому призванию.

Сомнительные знакомства Пушкина, его приятельские отношения со светскими львами огорчали Пущина. Он говорил:

— Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия.

Пушкин терпеливо выслушивал, но поступал по-своему.

Позднее Пущин и сам понял, что ни к чему они были, все эти укоры и выговоры.

К Пушкину нельзя было подходить с заурядной, обычной меркой. И умудренный Пущин писал: «Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза».

Внешне все выглядело так: не успел восемнадцатилетний лицеист сбросить синий мундирчик, надеть черный фрак с нескошенными фалдами, шляпу с большими полями a la Боливар, модный широкий плащ, как уже закружился в светском водовороте. Калейдоскоп новых встреч, знакомств, увеселений...

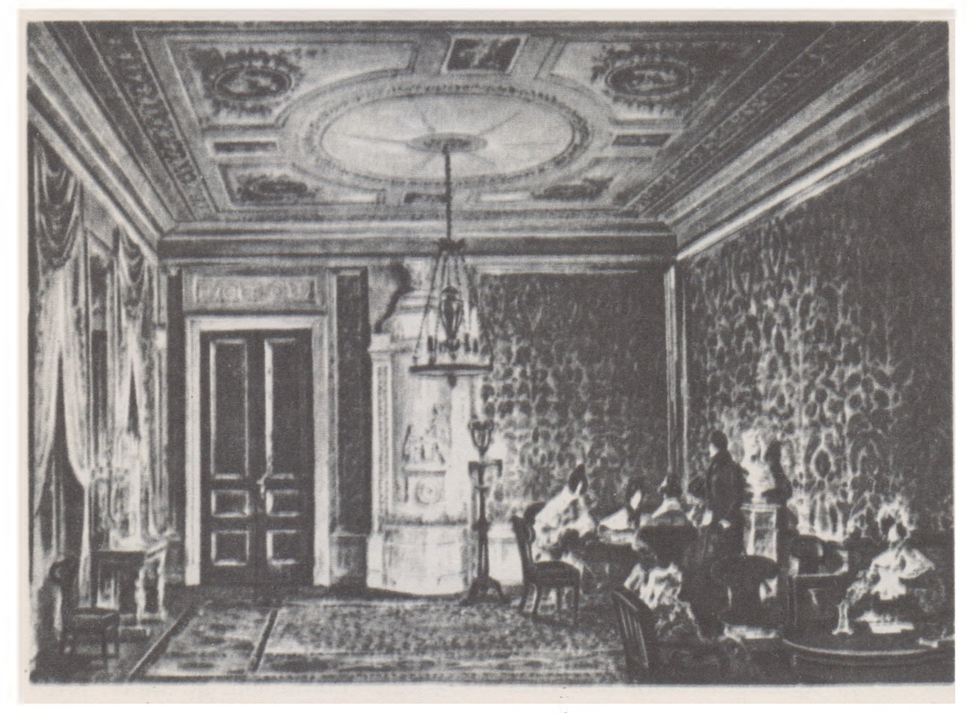
А это было ему нужно. И по свойствам его характера, и по жив-

шему в нем неуемному любопытству писателя. Ему нужна была жизнь во всей ее полноте.

Чаадаев говорил: «Познание человеческого сердца есть одно из первых условий биографа». Пушкину предстояло сделаться биографом целого поколения. Он узнавал его сердце, его внутренний мир.

На первых порах Пушкина приняли в светском обществе с распростертыми объятиями. Юноша из старинного дворянского рода, сын Сергея Львовича и Надежды Осиповны, воспитанник императорского Лицея, причисленный к иностранной коллегии... Чего еще желать? Он подходил по всем статьям. Его ласкали и привечали в светских салонах и гостиных. Ему даже готовы были простить то, что он поэт. Встречаются же странности.

Странности были в моде. Это шло из Англии. В лондонском



В аристократической гостиной.
Акварель неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

высшем свете считалось хорошим тоном иметь причуду, странность. Например: думать вслух; ложась спать, гасить свечку, засовывая ее под подушку; отращивать огромные ногти на руках. Странности допускались. И чопорные законодатели светских зал сначала смотрели сквозь пальцы на то, что «маленький Пушкин» без счету влюбляется, дерется на дуэлях и пишет стихи. Они снисходительно улыбались, когда разнесся слух, что восемнадцатилетний юноша без ума от тридцатисемилетней княгини Голицыной. Что поделаешь — шалун.

С княгиней Евдокией Ивановной Голицыной Пушкин познакомился у Карамзиных и сразу же влюбился. Это все заметили. «Поэт Пушкин, — писал Карамзин Вяземскому, — ... у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера».

Карамзин не без иронии назвал Голицыну Пифией, то есть прорицательницей, предсказательницей. Светская красавица княгиня была оригиналкой. Ее занимали предметы, предназначенные по тогдашним понятиям отнюдь не для женского ума. Она увлекалась философией и пуще того — математикой, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Ее красота и оригинальность привлекли внимание Пушкина.

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенно и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Пушкин восхищался княгиней. Она это ценила. Как-то, будучи в Москве, сказала Василию Львовичу, что его племянник «малый предобрый и преумный» и что он «бывает у нее всякий день».

Вернее было бы сказать — всякий вечер или даже всякую ночь. Оригинальность княгини заключалась и в том, что она превращала ночь в день. Гости являлись к ней в полночь и расходились под утро. За это ее прозвали «княгиня Полночь» или «Голицына-ночная». Кто-то предсказал княгине, что она умрет ночью, и ей не хотелось, чтобы смерть застала ее во сне.



Е. И. Голицына.
Портрет работы Д. Грасси. Первая четверть XIX в.

Жила Голицына-ночная в собственном доме на Большой Миллионной улице, одной из самых аристократических улиц Петербурга, вблизи от Зимнего дворца. Ее двухэтажный особняк был типичным жилищем столичной знати.

«Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных художников, — рассказывал Вяземский. — Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более, что и хозяйку можно было признать жрицею какого-то



И. С. Лаваль.
Портрет работы неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее».

В своем необычайном наряде, с черными кудрями по плечам, Голицына действительно напоминала Пифию, жрицу-прорицательницу из храма Аполлона в Дельфах, а ее ночные гости — посвященных, собравшихся, чтобы совершить какой-то древний обряд.

Одним из этих «посвященных» был юный Пушкин. Ему нравилась таинственная прелесть ночных собраний у Голицыной.

Княгиня Полночь происходила из старинного княжеского рода. А граф Лаваль, в салоне которого Пушкин также нередко бывал, принадлежал к новой знати.

Об удивительной истории графа Лаваля немало толковали в гостиных обеих столиц. Пушкин знал ее от родителей.

Сын виноторговца, молодой Лаваль покинул Францию и явился в Петербург, не без основания полагая, что достаточно быть французом, чтобы добиться в России многого. Поначалу определился он учителем в Морской корпус. Вскоре судьба ему улыбнулась. Богатейшая наследница Александра Козицкая согласилась стать его женой. Дело, казалось, сладилось. Но мать Козицкой вдруг воспротивилась. Она не пожелала отдать свою дочь безвестному французу.



Дом № 4 по набережной Красного Флота (бывшая Английская), принадлежавший И. С. Лавалю.
Фотография.



Парадная лестница дома Лаваля.
Фотография.

Лаваль же, как говорится, родился в рубашке. Его возлюбленная решилась на смелый поступок: она подала прошение самому царю — Павлу I.

У Павла был скорый суд. Он велел запросить мать девушки о причине отказа. Та ответила: «Во-первых, Лаваль не нашей веры; во-вторых, никто не знает, откуда он; в-третьих, чин у него больно невелик».



Бал.
Акварель неизвестного художника. 20-е годы XIX в.

Павлу не понравилась такая амбиция. Ведь сама-то Козицкая происходила из купцов. Он вздернул свой короткий нос и отбарабанил скороговоркой: «Во-первых, он христианин; во-вторых, я его знаю; в-третьих, для Козицкой чин у него достаточен, а потому обвенчать».

И вот в начале прошлого века известный архитектор Тома де Томон перестроил для Лаваля барский особняк на аристократиче-

ской Английской набережной, превратив его в чудо архитектуры, роскошный дворец, одно из красивейших зданий Петербурга.

Лаваль пошел в гору, получил чины, награды. В своем роскошном доме давал он пышные празднества.

Сюда на балы и рауты являлся и Пушкин.

Дом сиял огнями. У подъезда, охраняемого каменными львами, стояла вереница карет. Сквозь затуманенные стекла зеркальных окон можно было различить силуэты гостей.

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

Сбросив на руки лакею шинель, Пушкин по роскошной мраморной лестнице поднимался в бальную залу.

Огромная зала была ярко освещена. В хрустальных люстрах, в медных стенных подсвечниках — повсюду горели свечи. По обе стороны залы вдоль стен стояло множество раскрытых ломберных столиков. На их зеленом сукне уже ожидали игроков нераспечатанные колоды карт. В то время как молодежь плясала, пожилые солидные гости усаживались за вист. Музыка гремела. По сверкающему паркету кружились пары. Черные фраки, цветные мундиры мужчин смешивались с ослепительными туалетами дам.

Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

Пушкину нравились балы.

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.



На балу.
Литография А. Мартынова. Начало XIX в.

И хотя, по словам Кюхельбекера, Пушкин не был «двоюродным братом госпожи Терпсихоры», то есть блестящим танцором, он с удовольствием отплясывал мазурку и другие танцы, которым научился еще в Лицее.

Он обладал удивительным свойством: веселясь от души, в то же время подмечать все, что происходит вокруг. Все запоминалось, откладывалось в его необыкновенной памяти, чтобы потом обрести новую жизнь в поэмах и стихах.

В десятом часу вечера музыка на время умолкала. Танцы прекращались. Гости шли ужинать.

В таких домах, как у графа Лаваля, ужины бывали великолепны. Столы ломились от яств. Осетры-великаны, сливочная телятина (телят отпаивали сливками, чтобы мясо было нежным и жирным), индейки-гречанки (их откармливали грецкими орехами)... Несмотря на зимнюю пору — яблоки, персики, груши. Груды конфет. Шампанское и напитки без счету.

Балы давались на широкую ногу, стоили огромных денег. Недаром отец Онегина, который «давал три бала ежегодно», в конце концов промотался.

После ужина танцы возобновлялись. Но бал уже терял первоначальную свежесть и блеск. Обильная еда и питье делали свое дело. А когда бледный петербургский рассвет проникал сквозь зеркальные стекла окон, он освещал картину не очень привлекательную. От духоты и усталости лица приобрели зеленоватый оттенок. Волосы дам и девиц развились и висели бесформенными прядями. Перчатки были мокры, наряды измяты.

Напрасно заботливые маменьки, тетушки, бабушки выскакивали из-за карт, чтобы привести в порядок своих танцующих питомиц. Туалетам был нанесен непоправимый ущерб.

Оставалось одно — зевая, закутаться в шубу, добраться до кареты, возле которой дожидались промерзшие сонные слуги, и отправиться домой. А там — спать допоздна, чтобы вечером снова ехать на бал...

И так изо дня в день.

Пушкин с жадностью накинулся на светские развлечения. Но когда первое любопытство было удовлетворено, они наскучили ему, приелись, как сладости, когда их потребляешь не в меру. И он написал в послании своему лицейскому товарищу Горчакову:

Как ты, мой друг, в неопытные лета
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь и чувства и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.

Ему быстро опостылели эти

...вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежд законодатель,
Где Шеппинг — царь, а скука — председатель,
Где глупостью единой все равны.
Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал!..

Он разочаровался в светском обществе, и светское общество, разглядев его получше, разочаровалось в нем. И еще как разочаровалось! Он обманул все ожидания, этот юноша из старинной фамилии, воспитанный в императорском Лицее... Он оказался совсем иным, чем можно было предполагать. Независим, дерзок. Образ мыслей зловредный. И не скрывает этого. Наоборот — афиширует. Злословит государя; на них пишет эпиграммы. Будто дразнит всех, не заботясь о последствиях.

Такого свет не прощает. И свет ему не простил.

„Распространились сплетни"

Излюбленным развлечением светского общества была карточная игра. Играли все. Одни благоразумно, другие азартно. Набрасывая свою первую повесть из петербургской жизни — «Наденька», — Пушкин начал с описания азартной карточной игры. «Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое имение поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал, подрезая карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались веером, и облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого табаку».

В свете и довелось Пушкину увидеть шулеров, которые, подобно Ясунскому, с важным видом передергивали карты, не моргнув



Игроки
Сатирический рисунок И. Теребенева. 10-е годы XIX в.



Ф. И. Толстой-Американец.
Портрет работы К. Рейхеля.

глазом, обыгрывали при помощи ловкости рук неопытную молодежь. С одним из таких великосветских жуликов судьба столкнула Пушкина. Звали этого человека граф Федор Иванович Толстой, по прозвищу «Американец». Пушкин познакомился с ним на «чердаке» у Шаховского.

Федор Толстой был москвич, но наезжал в Петербург. Несмотря на дурную славу, его везде принимали. Это была личность весьма любопытная. Грибоедов вскоре изобразил его в «Горе от ума».

Репетилов говорит:

Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку не чист.

Действительно, называть было не надо. Все и так тотчас же узнавали Федора Толстого. Да он и не отпирался. Когда прочитал один из списков «Горе от ума», даже внес необходимые, по его мнению, поправки. Против «В Камчатку сослан был» написал: «В Камчатку черт носил, ибо сослан никогда не был». И еще вместо «крепко на руку не чист»: «В картишки на руку не чист, для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола».

Федор Толстой был неглуп, не лишен дарований и циничного остроумия.

Он являл собой тип прожженного авантюриста, человека без стыда и совести, который в буквальном смысле слова прошел огонь и воду, если «воду» понимать как морские путешествия, а «огонь» — как бесчисленные дуэли и сражения.

Необычайные похождения Толстого-Американца начались 7 августа 1803 года, когда он отправился из петербургского порта в кругосветное плавание на корабле «Надежда».

На «Надежде», которой командовал знаменитый Крузенштерн, находилась русская миссия, направлявшаяся в Японию. И вот в свите посла — пожилого камергера Резанова — среди прочих «благовоспитанных молодых людей» значился и гвардии поручик граф Федор Толстой.

«Благовоспитанность» Толстого сказалась очень скоро. Через несколько месяцев Резанов уже доносил о нем в Петербург: «Сей развращенный молодой человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех, беспрестанно сквернословит и ругает меня нещадно».

Резанов не преувеличивал. Наглость, грубость и дикие выходки Толстого не имели границ. И когда он подучил свою обезьяну, которую купил в Бразилии, залить чернилами судовой журнал, его решили ссадить с корабля. И действительно ссадили в Петропавловске-на-Камчатке, приказав сухим путем добираться в Петербург. Но Толстой еще попутешествовал: на купеческом судне съездил на Аляску, побывал в русских владениях в Америке, повидал Алеутские острова. В Москву вернулся «алеутом». Дома рядился в алеутскую одежду и увесил стены своих комнат раздобытым на севере оружием. За это за все и прозвали его Американцем.

Когда Пушкин познакомился с Федором Толстым, тот был уже немолод и разбойничал главным образом за карточным столом. Они

играли в карты, Толстой по обыкновению передернул. Пушкин поймал его. И услышал в ответ:

— Да я и сам это знаю, но не люблю, чтобы мне это замечали.

Игра продолжалась, но тем дело не кончилось. Толстой затаил злобу и вскоре отомстил.

С некоторых пор Пушкин начал замечать, что при его появлении в светских гостиных все разговоры смолкают, а вслед ему несется насмешливый шепот:

— Ах, это тот самый... Ну, поделом ему, поделом...

Сначала он ничего не мог понять. Но однажды Катенин, досадливо нахмурившись, рассказал ему, что какой-то подлец пустил слух, будто его, Пушкина, отвезли в Особую канцелярию министерства внутренних дел и там секретно высекли за стихи против правительства. Светские сплетники и сплетницы подхватили эту подлость и теперь злорадствуют.

Пушкин был ошеломлен. Впервые он столкнулся с неумолимой и злобной подлостью света. И не знал, как поступить. Кто его обидчик? Неизвестно. Кто распустил эту сплетню? Он не знал. Федор Толстой (это было его рук дело) действовал ловко и держался в стороне.

Было от чего прийти в отчаяние.

«Я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга», — писал Пушкин Вяземскому. Планы один безумнее другого беспрестанно сменялись в его разгоряченной голове.

Позднее он рассказывал в черновике письма Александру I: «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние...— мне было 20 лет в 1820 (году) — я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В (Ваше величество).

В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором — я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление, я принес бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело все...

Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной».

Друг, которому доверился Пушкин, был Петр Яковлевич Чаадаев.

„Он в Риме был бы Брут…“

Пушкин познакомился с Петром Чаадаевым в Царском Селе у Карамзина и пленился этим необычайным гусаром.

Чаадаев действительно был необычаен. С виду очень заметен, красив какой-то утонченной, фарфоровой красотой. Среднего роста, тонкий в талии, стройный, голубоглазый, белокурый, румяный, с приятным голосом и благородными манерами. Но под изысканной внешностью скрывался сильный характер.

Никому не пришло бы в голову подшучивать над тем, что гусар Чаадаев живет как красная девка — не кутит, не повесничает, в дуэлях не участвует. Ни тем, кто знал, что он храбрый офицер, который дрался при Бородине, брал Париж, ни тем, кто не знал этого. В нежнейшей голубизне его прозрачных глаз таилось нечто такое, что приводило в замешательство даже отъявленных наглецов.

Чаадаев знакомился с чрезвычайным разбором. Вокруг него как бы существовала невидимая черта, через которую никто не осмеливался переступить. Его дружбы искали. А беспечного юношу-лицеиста он сам приблизил к себе. Они стали друзьями.

В Царском Селе они виделись в гусарских казармах, в аллеях старых парков.

В Петербурге местом их встреч стал Демутов трактир.

Чаадаев был москвич, в Петербурге не имел родственников, и когда его назначили адъютантом командира гвардейского корпуса генерала Васильчикова, поселился в Демутовом трактире.

Гостиница Демута, или Демутов трактир, как ее тогда называли, считалась лучшей в столице. Приезжий, если он кроме любознательности располагал еще и деньгами, мог устроиться у Демута с приятностью и комфортом. К его услугам было все: просторные апартаменты, отличный стол, близость Невского проспекта.

Демутов трактир помещался на Мойке, в третьем доме от Невского. Это длинное трехэтажное здание, неказистое на вид, являлось своего рода петербургской достопримечательностью. Ведь свое заведение купец Филипп Якоб Демут основал еще при Екатерине II. С той поры оно здесь и находилось.

Каких только постояльцев не перебывало у Демута за эти долгие годы!.. И тех, что занимали анфилады комнат, и тех, что ютились в полутемных каморках.

Богатые постояльцы, которые живали здесь подолгу, обставляли свои комнаты на свой вкус и манер. К их числу принадлежал и Чаадаев. Кабинет и другие его комнаты во всем носили отпечаток



П. Я. Чаадаев.
Рисунок Ж. Вивьена. 1823 г.

оригинальной личности своего хозяина. Множество книг на нескольких языках соседствовало с зеркалами, безделушками, предметами роскоши и моды.

Чаадаев страстно любил книги. Ведя кочевую походную жизнь, умудрялся возить с собой целую библиотеку. Книги он начал собирать еще с малолетства. Мальчиком, в Москве, был хорошо известен тамошним книгопродавцам. Он рос сиротой, воспитывался у тетки и уже в раннем возрасте проявлял чрезвычайную самостоятельность.

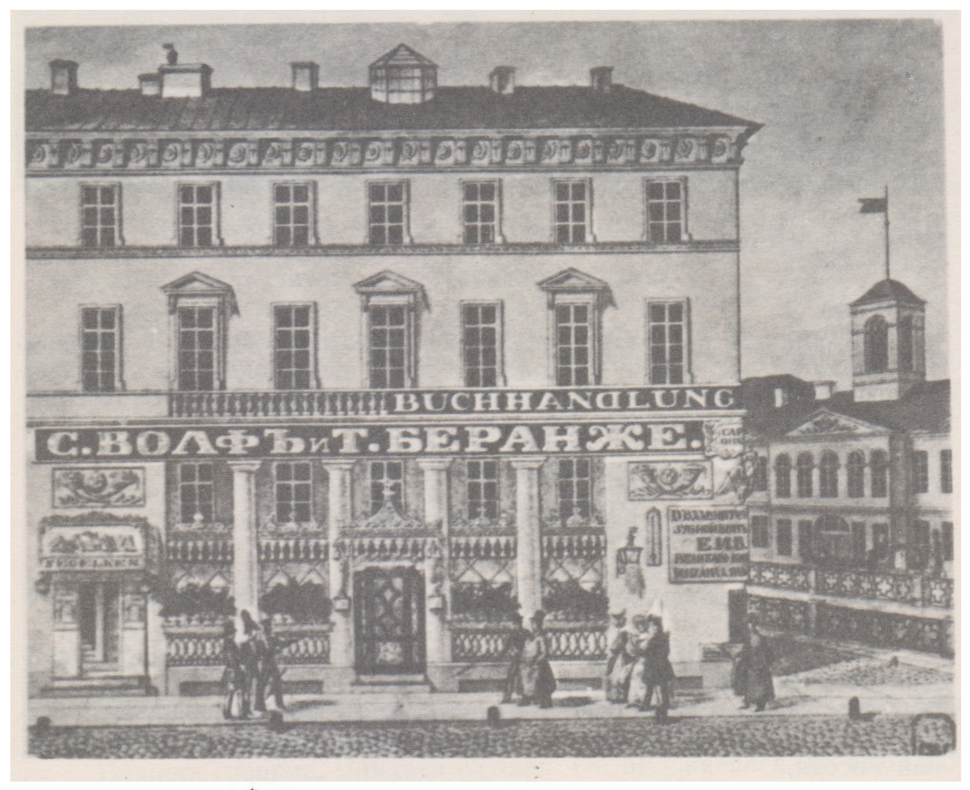
В светском обществе Чаадаев славился как утонченный денди. Его уменье одеваться вошло в пословицу. Одевался он строго, изящно, на английский манер.

Его родственник П. С. Жихарев рассказывал о нем: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто... Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью... Искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения».

Вскоре, рисуя своего Онегина — блестящего светского денди, Пушкин назвал его «второй Чадаев». Этим было все сказано.

В Чаадаеве нашел Пушкин многие черты Онегина:

Мечтам невольную преданность,
Неподражательную странность
И резкий, охлажденный ум.



Невский проспект у набережной Мойки.
Гравюра. 10-е годы XIX в.



Невский проспект у набережной Мойки.
Фотография.

Их роднили разочарованность, неудовлетворенность. А рождало эти свойства отсутствие настоящего дела, невозможность в Российской империи применить в полной мере свои силы, свой ум. Потому-то под портретом Чаадаева Пушкин написал:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Портрет с этой надписью висел в кабинете Чаадаева в Демутовом трактире.

Люций Юний Брут был основателем Римской республики, Периклес, или Перикл, — Афинской.

При своих дарованиях Чаадаев мог стать выдающимся государственным деятелем, но его не прельщала карьера в самодержавной России.

Он мечтал о другом и даже пренебрег возможностью попасть в адъютанты к самому царю: «Я нашел более забавным презреть эту

милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают», — так написал он об этом своей воспитательнице-тетушке.

Честолюбие Чаадаева было другого толка. Пушкин недаром сравнил его с республиканцами Брутом и Периклом. Чаадаев любил свободу и не скрывал этого. Члены Тайного общества присматривались к нему, надеясь завербовать его. Он был у них на испытании. Они знали о его дружбе с Пушкиным. «Я познакомился с ним, — рассказывал о Пушкине Иван Якушкин, — в мою последнюю поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие».

Пушкина постоянно встречали у Чаадаева. Гусар был домоседом, и, будь то утро или вечер, Пушкин шел к нему, заранее зная, что застанет друга дома.

Он входил в его номер, приоткрывал двери кабинета. Ну, так и есть. Знакомая и любезная сердцу картина: в кабинете, уставленном книгами, среди изящных безделушек, созерцая портреты Наполеона и Байрона, что красуются над камином, сидит в кресле Чаадаев. На нем немыслимой красоты бухарский халат. В руке книга. Он погружен в размышления...

Они вместе читали, мечтали, спорили, продолжали те долгие увлекательные беседы, которые начались еще в Царском Селе. Уходя, Пушкин брал английские книги. Он хотел сам выучить английский язык, чтобы читать в подлиннике Байрона.

С переполненной душой покидал Пушкин друга. Он и Чаадаев — они виделись ему Орестом и Пиладом, Кастором и Полуксом — юными героями древности, связанными неразрывными узами дружбы, готовыми вместе совершать подвиги во имя великой цели. Он писал Чаадаеву:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

И вот в трудную минуту, когда по петербургским гостиным ползла гнусная сплетня, пущенная Федором Толстым, когда Пушкин считал себя опозоренным, он пришел к Чаадаеву.

Пушкин говорил, Чаадаев слушал. Он не ужасался, не выражал сочувствия. Он сделал нечто лучшее — доказал, как неосновательно отчаяние друга. Он говорил о жизни подлинной и мнимой, о раздра-

жающей суете, которую принимают за жизнь. Но это только видимость, за которой нет сущности, потому что нет настоящего дела. В этой мнимой суетной жизни все утрачивает действительный вид. Мелкое кажется значительным. Ничтожные происшествия, порожденные ничтожными страстями, вырастают до размеров трагических. Что же касается клеветы, то она неотделима от высшего света, как вороний крик от погоста, как шипение змей от болот. И почему его, Пушкина, так взволновало мнение света, мнение людей, которых он сам презирает? Что ему до них? Будь он, Чаадаев, на месте Пушкина, он пренебрег бы. Самоубийство? К чему? Чего можно добить-



Невский проспект. Народный (бывший Полицейский) мост через Мойку.
Фотография.

ся, совершив самоубийство? Подтвердить подлые россказни. Убить царя? Что он этим докажет? Принесет себя в жертву ради мнения толпы. Нет, надо пренебречь. Непременно пренебречь.

Пушкин с жадностью ловил каждое слово друга и мало-помалу успокаивался, трезвел. Но пренебречь не смог. И по пылкому своему темпераменту, и по своим понятиям о чести. Он избрал иной путь. «Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести».

Он считал: если его накажут явно, это будет доказательством, что его не наказывали тайно.

„Мы добрых граждан позабавим"

Он и так был неслыханно дерзок. Раз, опоздав в театр на китайский балет Дидло «Хензи и Тао», Пушкин прошел в партер, отыскал знакомых и принялся громко рассказывать, что явился прямо из Царского Села, где произошел забавный случай. Медвежонок Захаржевского, управляющего Царским Селом, сорвался с цепи и убежал в дворцовый сад. А в саду в это время гулял император. Если бы не собачка царя — маленький Шарло, который тревожным лаем предупредил своего хозяина,— встреча была бы неминуема. Медвежонка, разумеется, поймали и истребили. Царь отделался испугом.

— Нашелся один добрый человек, да и тот медведь,— заключил свой рассказ Пушкин.

На следующий день эти слова повторял весь Петербург. Да и не только эти.

— Теперь самое безопасное время: на Неве идет лед! — кричал Пушкин во всеуслышание в театре, давая этим понять, что во время ледохода можно не бояться попасть в Петропавловскую крепость.

Все его касалось — дипломатические ухищрения царя в Европе, зверства Аракчеева в России. При каждом бесчинстве правительства звучал голос Пушкина.

Так было и в нашумевшей истории со Стурдзой. Началась она с того, что царя обеспокоило брожение в Германии, бунтарский

дух немецких студентов. И вот Стурдзе, хорошо известному Пушкину чиновнику иностранной коллегии, дано было задание проверить немецкие университеты и выяснить, каково в них состояние умов.

Стурдза задание выполнил и представил «Записку». В ней доносил: немецкие университеты не что иное, как рассадник революционной заразы и безбожия, всего, что надобно жестоко искоренять.

«Записку» пустили в ход. По приказанию царя она была напечатана на французском языке в количестве пятидесяти экземпляров и роздана королям и министрам, собравшимся на конгресс в городе Аахене. Только для них она и предназначалась.

Но скрытое стало явным. Неведомыми путями «Записка» попала в немецкие газеты. Германия забурлила.

Тайный союз немецких студентов срочно собрался в Иене. И было решено убить доносчика Стурдзу и защищавших его немцев-предателей — писателя Коцебу и профессора Шмольца. Трем студентам-мстителям торжественно вручили кинжалы.

Вскоре в петербургском журнале «Сын Отечества» появилось сообщение: убит Коцебу. «Убийца, выбежав на улицу, кричал: свершилось! Да здравствует Германия! Ранил себя тем же кинжалом дважды в живот, лишился чувств и отнесен был в лазарет... По находившимся при нем бумагам узнали, что он... Карл Занд 24 лет от роду, учился в Эрлангенском университете. Кроме паспорта были при нем еще две бумаги. На одной написано было большими буквами: смертный приговор, исполненный над Августом фон Коцебу 23 марта 1819 года по определению университета. В другой бумаге изложены были причины, побудившие его к сему поступку. Он жалуется в ней на унижение, бессердечие и подлость всех тех, которые препятствуют вольности и единству земли сей, и что он решился пожертвовать жизнью, чтобы подать в том первый пример».

Карамзин писал в Москву своему другу Дмитриеву: «Коцебу зарезан в Мангейме студентом... что будет со Стурдзою?»

Коцебу заколол кинжалом студент Карл Занд. Профессору Шмольцу, благодаря дюжему телосложению, удалось отбиться. А предупрежденный заранее Стурдза сломя голову бежал обратно в Россию. Вяземский сообщал из Варшавы Александру Ивановичу Тургеневу: «Здесь Стурдза, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов».

В Петербурге только и разговору было, что о Стурдзе и о Германии. «Как ругают в Германии Стурдзу, — писал Карамзин Дмитриеву. — Достается и России намеками».



Карл Занд.
Гравюра. 1821 г.

И тут зазвучал голос Пушкина. Он как бы подвел итог — заклеймил и Стурдзу, и того, кто его послал:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.

С первых дней нового 1820 года все взоры в Европе обратились к Испании. Петербургские газеты принесли новость: в Испании революция. Героическая страна, так долго сопротивлявшаяся железной воле Наполеона, не захотела терпеть притеснений и «законного»

монарха. Восставший народ принудил короля Фердинанда VII присягнуть конституции.

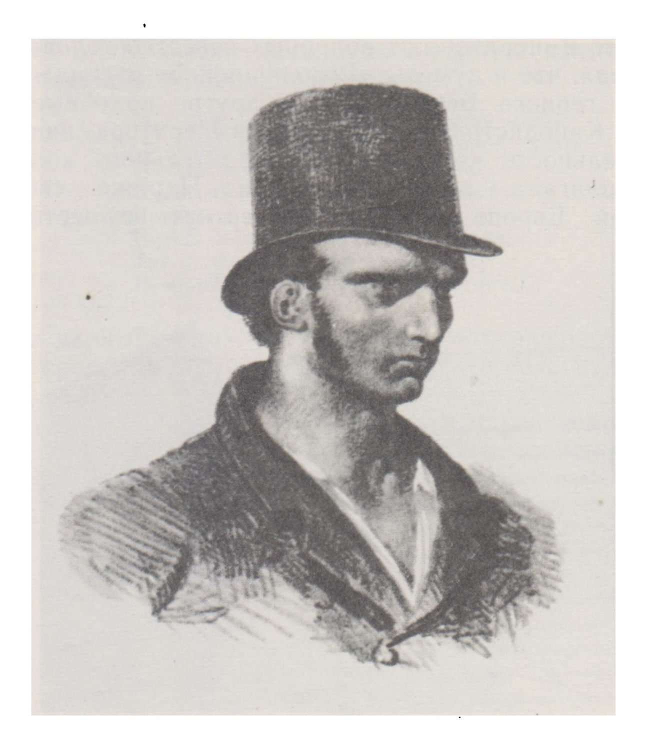
Молодые вольнодумцы в России ликовали. «Слава тебе, славная армия испанская... Слава испанскому народу... Свобода да озарит Испанию своим благотворным светом». Так записал в дневнике Николай Иванович Тургенев. Чаадаев писал брату о победе испанской революции, как о «великом событии», которое тем более важно, что «близко касается и нас».

О событиях в Испании толковали повсюду. Был арестован рядовой лейб-гвардии Егерского полка Гущеваров, который в пьяном виде кричал:

— Здесь не Гишпания! Там бунтуют мужики и простолюдины, их можно унять, а здесь взбунтуется вся гвардия — не Гишпании чета, все подымет.



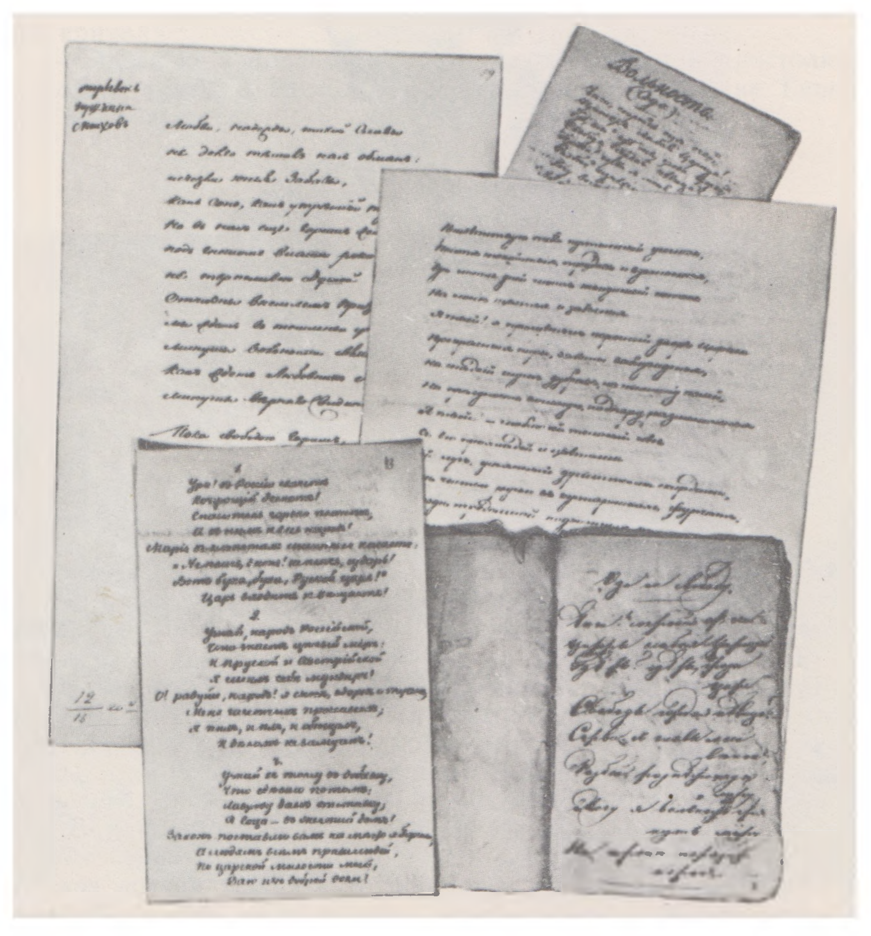
Революция в Испании.
Гравюра. 20-е годы XIX в.



Луи-Пьер Лувель.
Литография. 1820 г.

Не успели улечься «испанские страсти», как новое известие взбудоражило Петербург. Журнал «Сын Отечества» уведомлял: «В Париже случилось ужасное происшествие! 1 февраля в 11 часов вечера герцог Беррийский, выходя из Большой Оперы, садился в карету; вдруг приближается к дверцам кареты худо одетый человек, оттолкнул камергера... и ранил его высочество кинжалом в правый бок... В пять часов он (герцог) скончался. Убийца, прозвищем Лувель, служивший солдатом в Бонапартовом полку на острове Эльбе, отправляет ныне должность работника в мастерской седельника». Сообщались и подробности. На вопрос графа Клермона к Лувелю: «Изверг! Что могло побудить тебя к этому делу?» — последний ответил: «Я хотел освободить Францию от злейших врагов ее». Герцог Беррийский был племянником французского короля Людовика XVIII и предполагаемым наследником французского престола.

У русского императора от подобных известий голова пошла кругом. Он не знал, что и думать. «Революционное распадение Испании, умерщвление герцога Беррийского и другие подобные события, — рассказывал Каподистрия, — побудили императора видеть и подозревать деятельность какого-то распорядительного комитета, который, как полагали, распространял из Парижа свою деятельность по всей Европе с целью низвергнуть существующие правительства».



Списки вольнолюбивых стихотворений Пушкина.

А Пушкин в это время читал на заседании «Зеленой лампы» стихи, прославляющие революционные бои:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний недостоин.

«Свободы верный воин», он раздобыл литографированный портрет убийцы герцога Беррийского и сделал на нем надпись: «Урок царям».

В дни, когда Александр I, уединившись в царскосельском дворце, строил фантастические умозаключения о причинах революций в Европе, Пушкин расхаживал по рядам кресел в Большом театре и показывал портрет Лувеля со своей недвусмысленной надписью.

Уже не отдельные стихи, а целые рукописные сборники его запретных творений распространялись по Петербургу и по всей России.

Четырех строк оттуда было достаточно, чтобы очутиться в Сибири:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

„Громоносное облако“

По Петербургу ходила рукописная притча: «В одном Селе случился пожар. Легкомысленный хозяин, содержавший питейный дом того Села, пришед в неоплатные долги, в хмелю из отчаяния зажег свою избу. Поднялся ветер. Всюду разносило пылающие головни. Избы загорались одна после другой. Доходило уже до мужика Антипа, жившего на самом краю Села. Добрый Антип заботился о своих братьях от чистого сердца: но пожар был так силен, что не успел дать никому значительной помощи. Напротив того — потерял в общей тревоге. Братья, которых он хотел спасать, из зависти ль к его богатству и ненавидя его издавна, воспользовались сим случаем и, горя, ожесточились. Не станем разыскивать причин, короче — все на него бросились: и он едва не

сделался их жертвою. Следовательно, принужден отойти, чтобы защитить хотя собственный двор. И правду сказать, время уже было о себе подумать. Прямо на Антипа неслись искры. Одна только изба, и та наполненная пенькою и другим горючим товаром, отделяла его от всеобщей беды. Конечно, крыша была, к счастью, не соломенная и весь дом построен еще прадедом из дикой плиты, весьма прочным образом, да и горючих веществ находилось в нем немного, однако ж...

Милостивые государи, что прикажете сделать Антипу? Выдти ль ему на улицу и быть равнодушным зрителем, авось-де не загорится, или, сложа руки, горевать и призывать в помощь бога, чтобы он сделал для него чудо и пролил дождь? Не посоветуете ли вы ему лучше не терять ни минуты и распорядить все к своему спасению? Говорите, милостивые государи...

Село есть Европа, пожар революция, а двор Антипа отечество наше».

Сочинил эту притчу и пустил ее по рукам статский советник Каразин, проживавший в Петербурге украинский дворянин. Был он честолюбив, но отставлен от дел. Ему не везло. Он не раз предлагал свои услуги правительству, но его опасались: не в меру рьян и с фантазиями.

В начале царствования Александра I возымел Каразин мечту стать советчиком юного монарха и написал ему письмо. Говорили, что Александр благодарил его и даже по чувствительности обнял, о чем вскоре и пожалел. Непрошеный советчик засыпал его проектами и письмами. Дошло до того, что выведенный из себя царь приказал слободско-украинскому губернатору: «...статского советника и кавалера Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не принадлежат и ему известны быть не могут, взяв из деревни под караулом, посадить на харьковскую гауптвахту на восемь дней».

Но не так-то легко было унять Каразина. Приехав в Петербург летом 1818 года, он пожил, огляделся и не поверил глазам. Что творится в столице? Всюду вольные разговоры, неуважение к властям, всеобщее брожение умов. Рассказывают не таясь, что в Малом танцевальном зале был найден проколотым портрет императора. А пасквили, эпиграммы... Точь-в-точь как во Франции накануне переворота.

«Иной наш брат, украинец, — записал Каразин в своем дневнике, — подумает, что в столице-то, а особливо в Петербурге, в присутствии двора, под глазами государя, соблюдается на особе его уважение и дается пример преданности. Вот эпиграмма (сказывают, Милонова — известного поэта, члена Общества любителей словесности

и художеств), которою меня, так сказать, осрамили в столице сей! Она сделана на Сенат...

Какой тут правды ждать
В святилище закона!
Закон прибит к столбу,
А на столбе корона».

И тут в первый раз в писаниях Каразина появляется имя Пушкина: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность, написал презельную[1] оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом... К чему мы идем?»

Каразин не сомневался, что Россия идет к революции и что необходимо, пока не поздно, предотвратить «пожар». Он принялся за дело.

Однажды утром, разбирая бумаги, положенные к нему на стол, министр внутренних дел граф Кочубей нашел между ними письмо. Собственно, не письмо, а пространную записку — нечто среднее между доносом и проектом искоренения в России вольнодумства. Вернее, и то и другое вместе.

Как истинный аристократ, граф не без некоторой брезгливости относился к доносам, но как министр внутренних дел не мог не признавать их полезности. Письмо он прочитал. В нем, между прочим, говорилось: «Дух развратной вольности более и более заражает все состояния... Молодые люди первых фамилий восхищаются французской вольностью и не скрывают своего желания ввести ее в своем отечестве... Сей дух поддерживается масонскими ложами и вздорными журналами, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке... В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них Пушкин по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство».

К письму было сделано примечание: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковы напр. на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!»

Под письмом стояла подпись: «Василий Каразин».

---

[1] Презельную — преядовитую. Зельё — яд.

Прошло десять дней, и Каразину прислана была от министра записка: «Его сиятельство граф Виктор Павлович просит Василия Назаровича пожаловать к нему сего дня после обеда в восемь часов. 12 апреля 1820 года».

Приказав слуге вычистить свой парадный сюртук, Каразин отправился к министру.

Граф Кочубей жил на Фонтанке, близ Летнего сада, в собственном доме. Каразина провели в кабинет. Министр ждал его. И тут Каразин узнал, что письмо его было показано государю и им прочитано. Правда, на преобразовательные мысли государь внимания не



У замочной скважины.
Рисунок И. Бугаевского. 10-е годы XIX в.

обратил, но примечанием относительно эпиграмм и карикатур заинтересовался.

— Не могли бы вы, почтеннейший Василий Назарович, где-нибудь отыскать, одним словом, представить упомянутые эпиграммы Пушкина и сии карикатуры. Государю желательно... И поскольку вы... — Министр был человек вежливый и подбирал выражения.

И все же Каразин обиделся:

— Увольте, ваше сиятельство.

Какое непонимание! Он спасает отечество от поганой армии вольнодумцев, а его считают простым шпионом...

Ну, нет так нет. Министр улыбнулся. Его даже несколько позабавила такая щепетильность в доносчике. А что касается эпиграмм, то это дело полиции, Особой канцелярии, а также графа Милорадовича.

Даже самые секретные вести очень быстро распространялись по Петербургу. Не прошло и недели, а Николай Михайлович Карамзин уже писал в Москву Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий».

Опасались не напрасно. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович получил распоряжение отыскать и доставить оду Пушкина «Вольность» и несколько его же эпиграмм.

Полицейские агенты заметались по городу. Пошли в ход хитрость, деньги. Не без труда и затрат раздобыли требуемое.

Но этого оказалось недостаточно, и тогда было приказано захватить все бумаги Пушкина. Неожиданно. Врасплох.

Как? У петербургской полиции имелись разные способы.

Излюбленный — через слуг.

Слуг использовали всячески. К лицам неблагонадежным и подозреваемым приставляли в качестве слуг полицейских агентов. Даже к прибывшему из мятежной Испании послу пытались приставить «слугу».

Если же подозреваемые лица не нанимали слуг, а пользовались своими крепостными, и тут имелись лазейки.

Раздобыть бумаги Пушкина поручили сыщику Фогелю. Это была не простая «птица». Для видимости и благопристойности надворный советник Фогель числился чиновником при департаменте полиции. На самом же деле это был тайный агент из наиболее опытных, который не раз выполнял важные поручения правительства. Он обладал всеми нужными качествами: хитростью, умом, образованностью.

По-французски говорил как француз, по-немецки — как немец. Он прославился своей фантастической ловкостью.

Однажды, накануне войны 1812 года, петербургской полиции стало известно, что в Россию из Франции к французскому послу скачет тайный агент с важными бумагами. Агента перехватили, арестовали, посадили в Шлиссельбургскую крепость. А бумаг не нашли. Искали, но тщетно. Тогда обратились к Фогелю. Он сказал, что есть надежда, и велел посадить себя в крепость, в камеру рядом с французом.

Фогель пробыл в крепости целых два месяца, до тех пор, пока не свел дружбы с французским агентом и не выведал его тайну. Тогда он велел себя выпустить, вернулся в Петербург, отправился в каретный сарай, где стояла коляска француза, приказал снять с нее правое заднее колесо и отодрать шину. Под шиной в углублении и были спрятаны бумаги.

Фогель действовал сам по себе, на свой страх и риск. Через малый срок он знал все о Пушкиных и об их дворовых людях. Баб и девок в расчет не брал — они глупы и бестолковы. А вот лакеи, камердинеры...

Днем, выбрав время, Фогель явился в дом Клокачева. Его впустил в квартиру Никита Козлов — немолодой дядька Пушкина.

— Что, твой барин дома? — спросил Фогель для видимости, хотя прекрасно знал, что никого дома нет.

— Никак нет-с. Ушли.

Поговорив о том, о сем, Фогель будто невзначай попросил дать ему почитать бумаги Пушкина.

— Да ты не бойся, любезный. Я почитаю и верну.

Вынув пятьдесят рублей, Фогель протянул их Никите.

— А это тебе, возьми.

— Никак нет-с. Не возьму.

— Да ты бери... Я от души.

— Не возьму, не просите.

Фогель улещал, уговаривал. Он не привык к неудачам. Но Никита стоял на своем и твердил одно и то же:

— Не просите, не возьму.

Когда раздосадованный Фогель наконец убрался, Никита еще долго не мог успокоиться. Он был грамотен, неглуп и понимал, в чем дело: ишь что вздумали нехристи — купить бумаги Александра Сергеевича! А он чтобы продал, как Иуда... Продал своего питомца, которого сам вырастил, от которого худого не видал.

Никите припомнился случай. Он повздорил с камердинером молодого Корфа — того, что живет внизу. Так этот молодой Корф его,

Никиту, прибил. Александр Сергеевич как услышал, даже в лице изменился. Закричал: «Как он смеет! Подлец! Я его проучу». И, недолго думая, вызвал Корфа на дуэль.

Никита не рад был, что пожаловался. Дуэль, к счастью, разошлась. Корф струсил. Написал: мол, так и так, я драться не намерен.

В этот вечер Никита не ложился допоздна — дожидался Александра Сергеевича. Когда впускал его в квартиру, тут же в прихожей рассказал про странного посетителя, про бумаги и про пятьдесят рублей.

Пущкин ничего не сказал, только попросил огня. Он ушел в свою комнату и долго не ложился.

„Это не исправляет дела"

На следующее утро Пушкина вызвали к петербургскому генерал-губернатору графу Милорадовичу.

Пушкин понял, что правительство, которое он так дерзко обличал, не дремало, а лишь притворялось спящим. Теперь оно обратило к нему свой недремлющий взор. Что ждет его? Он жаждал явной кары как восстановления чести. Но если действительно Сибирь... Не слишком ли высока цена, чтобы оправдать себя в мнении общества? А что может быть Сибирь, он не сомневался. Он знал историю. Росссийские монархи не церемонятся с неугодными писателями. Если бы не смена царствования, Новиков погиб бы в каземате, Радищев в Сибири, куда их загнала «просвещенная» Екатерина.

Очутиться в Сибири и ждать смены царей... Перспектива неутешительная. Александр I не стар, и могут пройти десятилетия, пока он наконец отправится к праотцам.

Но как поступить? Пожалуй, прежде чем идти к генерал-губернатору, следует посоветоваться с его адъютантом.

Адъютантом Милорадовича был полковник Федор Николаевич Глинка. Тот самый поэт Федор Глинка, который бывал вместе с Пушкиным в зале с зеленой лампой у Всеволожского.

Глинка тоже жил в Коломне, на Театральной площади в доме Анненковой. Пушкин заходил к нему на литературные вечера.

Да, именно Глинка мог дать полезный совет. Он был умен и добр, от души расположен к Пушкину. И была еще причина, кото-



Ф. Н. Глинка.
Гравюра К. Афанасьева. 20-е годы XIX в.

рой Пушкин не знал. Состоя в Союзе Благоденствия, Глинка играл не последнюю роль в том опасном поединке, который вели с правительством члены Тайного общества. Глаза и уши губернатора, его чиновник по особым поручениям, Глинка по своей должности надзирал за состоянием умов, собирал городские слухи. А как член Тайного общества, представлял эти слухи в соответствующем виде. Он действовал как разведчик во вражеском тылу, тем более опасный, что начальник ему верил. Они прекрасно ладили и давно служили вместе. В 1812 году при боевом и бесстрашном генерале Милорадовиче состоял боевой и бесстрашный адъютант

Федор Глинка, награжденный за храбрость золотым оружием. Получив новое назначение, генерал взял адъютанта к себе.

Выйдя на Театральную площадь, Пушкин еще издали увидел Глинку, который шел ему навстречу.

— Я к вам.

— А я от себя.

Глинке бросилось в глаза, что Пушкин бодр и спокоен, но несколько бледнее обычного и не улыбается ему, как всегда при встрече.

Они пошли вдоль площади, и Пушкин заговорил:

— Я шел к вам посоветоваться... Слух о моих и не моих (под моим именем) пиесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги... Теперь меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю как и что будет и с чего с ним взяться? Вот я и шел посоветоваться с вами...

Они остановились и обсудили дело. В заключение Глинка сказал:

— Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Пушкин так и сделал.

Генерал Милорадович, по национальности серб, известный своими военными подвигами и своим самодурством, занимал роскошную квартиру на Невском проспекте в доме Колержи, напротив Малой Морской. Направляясь туда, Пушкин припоминал все, что слышал о Милорадовиче. Галантный рыцарь и невежда, кумир солдат и фанфарон, мот и благотворитель, способный на добрые дела. Похождений Милорадовича с лихвой хватило бы на роман во вкусе Вольтера — игривый и затейливый. Про генерала рассказывали, что он прожил несколько состояний, вечно в долгах, из которых не раз выкупал его царь.

Войдя в квартиру генерал-губернатора, Пушкин сразу почувствовал, что страсть Милорадовича — предметы роскоши. Квартира напоминала не то мебельный магазин, не то музей. Диваны, бюро, кресла, столы и столики, два фортепьяно. На стенах редчайшие картины. Повсюду статуи, фарфор, трубки, янтарные чубуки... Беспорядок и утонченный вкус. Восток и Запад, Европа и Азия... Одна

комната сплошь состояла из зеркал: и стены и потолок — все было зеркальное. Другая на турецкий манер была убрана диванами. Посреди библиотеки помещался птичник. Спальни не было. Граф спал где вздумается.

Милорадович принял Пушкина в кабинете, лежа на диване и укутанный шалями. Как многие южане, он боялся холода. Они поздоровались, и беседа началась.

Когда часа через три Глинка явился к генерал-губернатору, Пушкина там уже не было. Милорадович по-прежнему лежал на диване.

Увидев Глинку, он сказал:

— Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги; но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои стихи сожжены! У меня ничего не найдется на квартире; но если вам угодно, все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкой, что мое и что разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь... Вот она (Милорадович указал на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли — Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения.

Тетрадь, на которую указывал граф Милорадович, заключала в себе все «крамольные» стихи Пушкина, кроме эпиграммы на Аракчеева. Признать себя автором этой эпиграммы — значило добровольно сунуть голову в петлю.

Стихи очень понравились графу. Он читал их и смеялся. К счастью Пушкина, этот бравый генерал был плохим генерал-губернатором и еще худшим полицейским.

На следующий день после разговора с Пушкиным Милорадович повез его тетрадь во дворец и вручил царю со словами:

— Здесь, ваше величество, все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать.

Царь слегка улыбнулся на такую заботливость, выслушал отчет генерала и спросил:

— А что ты сделал с автором?

— Я?... Я объявил ему от вашего имени прощение!

Царь нахмурился.

— Не рано ли?

Сам он не был склонен прощать так легко и, прочитав тетрадь, утвердился в этом. Пушкин был опасен.



М. А. Милорадович.
Литография Г. Гиппиуса. 1822 г.

Из трех десятков воспитанников Царскосельского лицея, что росли у него под боком, этот курчавый юноша запомнился царю более остальных. Особенно после случая со старой фрейлиной Волконской, которой Пушкин влепил по ошибке поцелуй. Тогда по просьбе Энгельгардта пришлось уладить дело. Царь даже помнил остроту, которую сказал на ухо директору Лицея:

— Старушка, быть может, в восторге от ошибки молодого человека.

Александр считал, что острота недурна.

Пушкин в Лицее был повеса. Но вот в конце прошедшего, 1819 года имя этого повесы стало сильно шуметь. И тогда Александр пожелал прочесть его рукописные стихи. Те, что ходили в публике. Не то чтобы царя интересовала поэзия — чего не было, того не было, — а для порядка. И если стихи сомнительны, то и для принятия мер.

Командир Отдельного гвардейского корпуса князь Васильчиков получил поручение представить государю интересующие его стихи. Адъютантом при Васильчикове состоял Петр Чаадаев. Князь вызвал его.

— Не можете ли вы по своей дружбе с Пушкиным...

Пушкин и Чаадаев думали. Положение щекотливое. Что представить? «Вольность», «Ноэли», эпиграммы? Они смеялись, воображая лицо царя.

Наконец Пушкин придумал: «Деревню».

Это был ловкий ход. Царь ведь враг рабства. Так по крайней мере он постоянно твердит. А «Деревня» — против рабства.

Особенно подходили к случаю последние строки стихотворения:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Царь ознакомился с «Деревней» и сказал Васильчикову:

— Поблагодарите Пушкина за благородные чувства, которые вызывают его стихи.

На этот раз обошлось, и царь забыл о Пушкине. Но ему напомнили. Первый — Аракчеев. Не довольствуясь агентами тайной полиции, Аракчеев завел своих, и те доносили:

— По городу пущена злонамеренная эпиграмма. Вот, ваше высокопревосходительство, почитайте.

Аракчеев прочитал:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

Эпиграмма действительно была злонамеренная. На кого она, не вызывало сомнений. Для Аракчеева не было секретом, что его еще с екатерининских времен называли «гатчинский капрал». Резиденцией наследника престола Павла Петровича была при Екатерине Гатчина. Что же до Чугуева, то после чугуевского мятежа к «капралу» прибавили «Нерона». А кто виноват? Чугуевцы. Они — потомки вольных казаков — решили лучше умереть, чем стать военными

поселенцами. Пришлось для вразумления послать солдат и пушки. И каково упрямство! Покрытые ранами старые казаки умирали под пытками, но не сдавались и завещали своим сыновьям стоять до конца.

Женщины бросали маленьких детей под копыта кавалерии, крича, что лучше быть раздавленными, чем попасть в новое рабство.

Бунт подавили. Виновных наказали. В соответствии с законом. Многие, упокой господь их души, конечно, не выдержали, а он, Аракчеев, — Нерон. Он — изверг. Его призывают убить. Кто призывает? Пушкин. У кого искать защиты? У государя.

— Батюшка, ваше величество, известный вам Пушкин...

— Но эпиграмма не подписана.

— Мало что не подписана — рука точно его.

Сперва Аракчеев, затем донос Каразина и наконец эта тетрадь. «Кочующий деспот», «венчанный солдат» и, что самое непристойное, — ода «Вольность»...

Александр не выносил напоминаний об убийстве отца. Эта смерть была кровавым пятном на его неспокойной совести, пятном, которое он, подобно леди Макбет, никогда не мог отмыть.

Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Да, страх, леденящий душу страх. Все было точно так, как в этой проклятой оде. Она воскресила события той ужасной ночи. Он вновь пережил все: безумный страх (а вдруг заговор не удастся?!), душевные терзания (ведь все-таки отец!) и тупое облегчение — свершилось!

Да, он знал о заговоре. Мало того, он сам приказал заговорщикам ждать ночи, когда в караул дворца заступит его любимый Семеновский полк.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...

Да, все было так. Он знал о заговоре. Но не он один. Мать и брат тоже знали. И теперь, когда он прочитал эти проклятые стихи, ему вновь мерещилось: тускло освещенные переходы Михайловского замка, пьяные гвардейцы целуют руки его жене Елизавете Алексеевне и чуть не ее самое, поздравляя царицей. А он и его брат Кон-

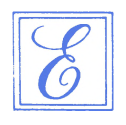
стантин... Дрожащие, бледные, они одни в карете мчатся среди ночи из Михайловского замка в Зимний дворец...

Встретив в царскосельском парке директора Лицея Энгельгардта, царь резко сказал ему:

— Энгельгардт, Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами. Вся молодежь их наизусть читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела.

Царь был согласен с Аракчеевым, который настаивал, что за оскорбление величества, осмеяние правительства и тех начал, на которых зиждется Россия, и Сибири мало.

„Участь Пушкина решена"



два только дрожки остановились на Фонтанке у дома Муравьевой, как Чаадаев соскочил и, придерживая саблю, устремился в подъезд. Первый этаж, второй, третий... Он знал, что Карамзин не принимает в дневные часы, но дело было безотлагательное, и тут уж не до приличий.

Карамзин поднял брови: в Петербурге переворот? Чаадаев, который славился своей невозмутимостью, взволнован не на шутку.

— Я пришел к вам за помощью,— заговорил Чаадаев.— Мне стало известно от верных людей, что Пушкину грозит Сибирь. Это чудовищно! Карамзин не может дать погибнуть Пушкину. Вы должны вмешаться. Вдовствующая императрица вас жалует. Ежели зло свершится, потомство не простит...

— Я не отказываюсь, друг мой, хоть, между нами говоря, он пожинает, что посеял. Но почему вы заступником? А где же сам герой?

— Он к вам будет. Непременно.

И Пушкин пришел. Разговор был долгим, мучительным. Вернее, не разговор, а встреча. Говорил лишь Карамзин.

— Вы и вам подобные,— Карамзин не скрывал своей иронии,— хотите уронить троны, а на их место навалять кучу журналов. Вы воображаете, что миром могут править журналисты. Заблуждение нелепое для ума недетского.

Он должен был выговориться. Он как бы брал реванш.

Потом сказал:



А. С. Пушкин.
Автопортрет. 1820 г.

— Я не отказываюсь, я поеду. Но что я там скажу? Мне требуются доказательства вашего раскаяния. Вы можете обещать хотя бы два года не писать против правительства?

Выбирать не приходилось. Пушкин не стал упрямиться. Два года не вечность. А по нынешним временам... Кто знает, что будет завтра?

— Хорошо, я согласен.

Отложив свои занятия, Карамзин поехал во дворец.

В разных концах Петербурга разные люди говорили о Пушкине. И все об одном.

Чаадаев помчался к князю Васильчикову. Гнедич бросился к Оленину. Жуковский, как и Карамзин, просил о заступничестве вдовствующую императрицу. Александр Иванович Тургенев делал все, что мог.

Карамзин и Жуковский побывали и у Каподистрии. На него особенно надеялись. Он принадлежал к тем немногим, кого царь уважал и к чьему мнению прислушивался.

Чтобы добиться от Александра смягчения участи Пушкина, было два пути. Карамзин, Жуковский, директор Лицея Энгельгардт избрали первый — они взывали к милосердию.

— Воля вашего величества, — говорил Энгельгардт, — но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его.

Энгельгардт ожидал от Александра великодушия. Ведь льстивые стихотворцы с давних пор нарекли царя «Титом», то есть императором великодушным и милосердным. Таким, по преданию, был римский цезарь Тит. На бюсте Александра, поставленном в Московском благородном собрании, где скульптор изобразил царя в римской тоге, красовалась надпись, сочиненная Карамзиным:

«Кого из кесарей, дворянство в древней тоге,
Ты образ вознесло своих забав в чертоге?»
— Се Август счастием, победами Троян,
А сердцем Тит, — ответ раздался россиян.

Некто Андреев витийствовал:

То Александр, владыка строев,
В боях Геркул, на троне — Тит.

Каподистрия, который, как никто другой, изучил своего государя, знал, что собою в действительности представляет «великодушный Тит», и считал, что надеяться на милосердие Александра столь же неразумно, как выжимать из камня воду. Каподистрия избрал другой путь. Из многолетних наблюдений ему было известно, что русский император терпеть не может шума. Никаких происшествий. Никаких политических историй. Что бы там ни было, а Европа должна видеть: в России все спокойно. Россия — как гранитный утес среди бушующего моря европейских революций. Царь всячески оберегал свой престиж. Этим и решил воспользоваться Каподистрия.

— Если государь позволит мне высказать свое мнение о деле Пушкина, — сказал статс-секретарь царю, — то оно таково. Дело и так получило излишнюю огласку. О нем толкуют повсюду. Сослать

двадцатилетнего юношу, на редкость талантливого поэта, в Сибирь — значит сотворить из него мученика, возбудить умы и сыграть на руку либералистам и крикунам-газетчикам... Они приукрасят, приумножат. У России столько врагов... Чтобы охладить горячую голову, не обязательны морозы Сибири. Можно без всякого шума удалить молодого человека подальше от Петербурга, в какую-нибудь глушь. Ну, скажем, в малороссийские степи. Мне как раз нужен курьер к генералу Инзову. От Петербурга до Екатеринослава езды две недели. А малороссийские степи, как известно, своей пустынностью и однообразием располагают к размышлениям...

Александр слушал и молчал. На его красивом, но уже сильно обрюзгшем лице ничего нельзя было прочесть. Каподистрия почтительно ждал. Ждал долго. Молчание затягивалось. Наконец царь вымолвил:

— Пусть едет к Инзову.

Уединившись в своем кабинете в иностранной коллегии, Каподистрия писал сопроводительное письмо об отправляемом к попечителю колонистов Южного края генералу Инзову коллежском секретаре Пушкине. Писал не как начальник о провинившемся подчиненном, а как доброжелатель, как тонкий психолог, привыкший разбираться в поведении людей.

Сведения о детстве Пушкина, о его домашней жизни и воспитании Каподистрия почерпнул из рассказов Карамзина и Жуковского, суждения о дарованиях юноши вывел сам.

«Исполненный горестей в продолжении всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную... Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет, сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, — как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований... Несколько поэтических пиес, в особенности же ода на вольность обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах замысла и стиля его стихотворение свидетельствует об опасных принципах... Гг. Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасностях, которым подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому,

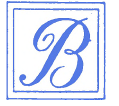
что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда. Удалив Пушкина на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государства или, по крайней мере, первоклассного писателя... Судьба его будет зависеть от ваших добрых советов».

Письмо предстояло подписать царю и первому статс-секретарю — графу Нессельроде. Для них и предназначалось «торжественное обещание» отречься навсегда от своих «заблуждений». А остальное — для Инзова, старого приятеля Каподистрии, чтобы расположить его в пользу молодого изгнанника.

Четвертого мая на письме Каподистрии царь начертал: «Быть по сему». Пятого — поставил свою подпись Нессельроде.

Прошел только месяц с того дня, когда Каразин отправил графу Кочубею донос на вольнодумцев, а Александр Иванович Тургенев уже писал в Варшаву Вяземскому: «Участь Пушкина решена. Он завтра отправляется курьером к Инзову и останется при нем».

„Что для тебя шипенье змей...“



«Новейшем путеводителе по С.-Петербургу» Ф. Шредера, изданном в 1820 году, говорится: «Вольное общество любителей российской словесности собирается каждый понедельник после полудня... в Вознесенской улице, в доме Войвода. Президент его полковник гвардии Ф. Глинка. Общество сие составилось в 1815 году из молодых стихотворцев и в 1817 году утверждено правительством. С 1818 года издает оно журнал под заглавием «Споспешествователь просвещения и благотворения». Сбор с сего журнала определен для вспомоществования недостаточным писателям и художникам».

Однажды Плетнев сказал Федору Глинке, что надо бы Пушкина принять в «Вольное общество любителей российской словесности», на что Глинка ответил: «Овцы стадятся, а лев ходит один». Когда же «льва» принялись травить, на очередном заседании «Вольного общества» его действительный член Вильгельм Кюхельбекер прочитал свои новые стихи.

Назывались они «Поэты» и начинались с обращения к Дельвигу:

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?

Кончались «Поэты» обращением к Пушкину:

И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана?

Из Петербурга изгоняли не безвестного юношу, а молодого корифея, надежду русской литературы.

Собираясь в дальнюю дорогу, укладывая то немногое, что брал он с собой, Пушкин бережно опустил на дно чемодана портрет Жуковского с надписью «Победителю-ученику от побежденного-учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26 великая пятница».

Еще совсем недавно его поздравляли с окончанием «Руслана», сулили успех, славу. Теперь... Все изменилось так стремительно, что он не успел опомниться, не успел даже переписать набело шестую песнь поэмы, не закончил начатые издательские дела.

Правда, сборник пристроил. Он, Пушкин, проиграл в карты Никите Всеволожскому пятьсот рублей и, не имея чем платить, положил на стол сборник — единственно ценное, что было у него. Оценил его по-божески — в тысячу рублей. Больше спросить посовестился. И предложил Всеволожскому: пусть купит сборник и пусть издаст. Пятьсот рублей в счет долга, пятьсот — наличными. Всеволожский согласился и обещал издать.

А поэма? О ней хотели позаботиться друзья. «Мы постараемся отобрать от него поэму, — писал Вяземскому Александр Иванович Тургенев, — прочтем и предадим бессмертию, то есть тиснению».

Четвертого мая 1820 года, когда на письме Каподистрии царь поставил свое «Быть по сему», граф Нессельроде приказал выдать «коллежскому секретарю Пушкину, отправляемому к главному попечителю колонистов Южного края России, ген.-лейт. Инзову, на проезд тысячу руб. ассигнациями из наличных в коллегии на курьерские отправления денег».

Ему выдали деньги и «пашпорт». В нем говорилось:

«По указу его величества государя императора Александра Павловича самодержца Всероссийского. И прочая, и прочая, и прочая.



побѣдителю-ученику отъ побѣжденнаго-учителя
въ тотъ высокоторжественный день въ который онъ окончилъ свою
поэму Русланъ и Людмилла
1820 Марта 26 великая пятница

В. А. Жуковский.
Гравюра Е. Эстеррейха с дарственной надписью Жуковского Пушкину. 1820 г.

Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к главному попечителю колонистов Южного края, г. генерал-лейтенанту Инзову; почему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему.

В Санктпетербурге майя 5-го дня 1820 года».



Тетрадь стихотворений Пушкина, подготовленных им к изданию («Тетрадь Всеволожского»). *1819 г.*

Отъезд был назначен на следующий день.

Пушкин простился со всеми, кроме Чаадаева. Ему оставил записку: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал. Стоило ли будить тебя из-за такой безделицы». Под напускной беспечностью он скрывал другие чувства.

Отъезд вышел тягостным. Мать мрачно молчала. Старший сын ее не радовал. Она не понимала его. Сестра и няня плакали. По

счастью, отца в Петербурге не было, и это избавило от длинных наставлений и упреков. Пушкин был сыт ими по горло.

В коляску сели вчетвером. Его верный слуга — Никита — на козлы к ямщику. Сзади он, Пушкин, и двое провожающих — Дельвиг и Павел Яковлев.

Кони дернули. Ольга бросилась к брату, хотела что-то сказать, да передумала и лишь махнула рукой. Няня Арина стояла поодаль и крестила его мелко и часто, как когда-то в Москве, когда укладывала спать.



Старый верстовой столб на Московском проспекте у Обуховского моста через Фонтанку.
Фотография.

Ехали по Фонтанке до Московской заставы. Выехали на Белорусский тракт. В Царском Селе Дельвиг и Яковлев сошли.

— Прощай, Пушкин.

Они обнялись. Глаза у Дельвига были полны слез, Яковлев, как всегда, балагурил. Пушкин вторил ему, хоть и было невесело.

Когда провожающие скрылись за густыми клубами дорожной пыли, Пушкин остался один со своими мыслями.

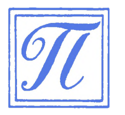
Сожалел ли он, покидая Петербург? Нет, не сожалел. Он презирал этот город. Ему было горько. Он был ожесточен.

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?

Сожаления пришли потом, когда все пережитое подернулось умиротворяющим туманом забвения. А пока... Незадолго до отъезда он писал Вяземскому: «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу».

Прощаясь с Раевским, Пушкин условился с Николаем встретиться в Екатеринославе и вместе отправиться путешествовать по Кавказу. Раевские чуть не всей семьей собирались лечиться на Кислых водах.

„Я к вам лечу воспоминаньем“



рошло уже три месяца с того дня, как Пушкин покинул Петербург. Генерал Инзов разрешил ему путешествовать вместе с Раевскими. Они пересекли украинские степи, переправились через Дон, посетили Кавказ, Крым.

Пушкин стоял на палубе корабля, который уносил его из Феодосии в Гурзуф.

Была безлунная ночь. В вышине сияли звезды. В тумане вдоль берега смутно угадывались очертания гор.

— Вот Чатырдаг, — сказал капитан.

Пушкин не различал Чатырдага, да и не любопытствовал. Мысли его были далеко. Вокруг простиралось теплое южное море, в вышине сияли крупные южные звезды, а он думал о севере, думал о Петербурге.

Он не спал до утра. В ту ночь написал он одно из самых удивительных своих стихотворений, в гармонии которого как бы слились

воедино плеск волны, шум ветра и жалобы страдающего человеческого сердца. Он написал элегию «Погасло дневное светило» — первое стихотворение, сочиненное им вдали от Петербурга. В нем излил все, что томило его.

Погасло дневное светило.
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья...

«Но только не к брегам печальным туманной родины моей...» Он не хотел возвращаться туда, где так много выстрадал. Он хотел забыть Петербург. Но воспоминания услужливо воскрешали картины пережитого: клевету, гонение, измену друзей.

Лишь немногие из «минутных друзей» ему остались верны. Почти все испугались, отшатнулись, предали. Иные даже злорадствовали и пытались унизить.

И все его права: иль два, иль три Ноэля,
Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля.

И это писал приятель, член «Зеленой лампы» Родзянко...

Но, к счастью, кроме «минутных друзей», были и настоящие, истинные, те, кто помог ему выстоять, спас от Сибири. И воспоминание

о них скрашивало горечь обид, бодрило, радовало, рождало терпение и мужество.

Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!

Так писал он в эпилоге «Руслана и Людмилы».

Письмами его не баловали, и каждое доказательство того, что он не забыт, что его помнят там, на брегах Невы, было великой радостью. И день, когда прочел он в журнале «Сын отечества» стихи Федора Глинки, обращенные к нему, стал для него праздником.

Благородный Глинка не побоялся публично приветствовать молодого изгнанника, назвать его имя в печати. Он писал:

О Пушкин, Пушкин! Кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных,
Тебя младенцем полюбя,
Лелеял, баял в колыбели?
Лишь ты завидел белый свет,
К тебе эроты[1] прилетели
И с лаской грации[2] подсели...

Стихи кончались ободрением, в котором так нуждался Пушкин:

Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

Посылая в Петербург ответные стихи, Пушкин просил брата: «...Покажи их Глинке, обними его за меня и скажи ему, что он все-таки почтеннейший человек здешнего мира».

Стихи были такие:

Н. Ф. ГЛИНКЕ

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм[3],

---

[1] Эрот — в античной мифологии бог любви.
[2] Грации — в античной мифологии три сестры, богини красоты, радости.
[3] Остракизм — изгнание, ссылка.

Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнаньи позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид[1].

Более всего в его изгнании ему недоставало дружбы. Особенно — Чаадаева. Его разговоров, их долгих бесед.

Теперь он в полной мере оценил, как много значил для него Чаадаев.

Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства — может быть спасенные тобою!

Если бы Чаадаев был рядом, жизнь, даже в изгнании, не утратила бы своей полноты.

Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой.
О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?..
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим...

Когда до Кишинева дошла весть, что Чаадаев, пренебрегая карьерой, вышел в отставку и собирается в чужие края, Пушкин написал Вяземскому: «Говорят, что Чаадаев едет за границу — давно бы так; но мне его жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь бог знает, когда свидимся».

---

[1] Аристид — государственный деятель и полководец Афинской республики (VI—V в. до н. э.). Прославился справедливостью и неподкупностью.

Уезжая из Петербурга, Пушкин не сомневался, что его высылают на полгода, не больше. Но ссылка затягивалась. И он все острее ощущал одиночество. «...Кюхельбекерно мне на чужой стороне. А где Кюхельбекер?» — писал он брату. «Обнимаю с братским лобзанием Дельвига и Кюхельбекера. Об них нет ни слуха, ни духа», — жаловался Гнедичу.

Ему мучительно не хватало лицейских друзей: Дельвига, Кюхельбекера, Пущина. За шесть лицейских лет, за три года в Петербурге он сроднился с ними, и теперь при мысли об огромном расстоянии, разделяющем их, его охватывала тоска. «Друзья мои! надеюсь увидеть вас перед своей смертию».

Лицейские друзья писали редко. Кюхельбекера и Пущина судьба тоже не баловала. Их раскидало из Петербурга. Кюхельбекеру не простили его вольномыслия, не простили стихотворения «Поэты», где говорил он о гонениях, приветствовал опального Пушкина. Беспокойного педагога уволили со службы в Благородном пансионе, и он, не дожидаясь худшего, уехал за границу с богачом Нарышкиным, нанявшись к нему секретарем.

Когда высылали Пушкина, Пущина не было в Петербурге. Он ездил в Бессарабию к больной сестре. Потом вместе с гвардией ушел чуть не на год в поход. А вернувшись в столицу, не поладил с великим князем Михаилом Павловичем, подал в отставку и уехал в Москву.

Один только Дельвиг вел оседлую жизнь, и с ним можно было переписываться. «Жалею, Дельвиг, что до меня дошло только одно из твоих писем...» «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнию лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину!»

Чаще всего он писал брату, юному Льву.

Когда Пушкина отправили на юг, Льву шел пятнадцатый год. Это был неглупый, живой юноша, одаренный необыкновенной памятью и, несмотря на избалованность, способный на смелые поступки. Узнав, что из Благородного пансиона увольняют Кюхельбекера, воспитанники подняли бунт. По донесению директора, «класс два раза погасил свечи, производил шум и другие непристойности, причем зачинщиком был Лев Пушкин». Зачинщика исключили. Пушкина заботила судьба Льва. Он хотел знать о нем все.

«Скажи мне — вырос ли ты? Я оставил тебя ребенком, найду молодым человеком; скажи, с кем из моих приятелей ты знаком более? что ты делаешь?..»

Он думал о брате с любовью и нежностью, как бы вновь переживая свою собственную весну...



Л. С. Пушкин.
Рисунок А. Орловского. 20-е годы XIX в.

Брат милый, отроком расстался ты со мной —
В разлуке протекли медлительные годы;
Теперь ты юноша — и полною душой
Цветешь для радостей, для света, для свободы.
Какое поприще открыто пред тобой,
Как много для тебя восторгов, наслаждений
И сладостных забот и милых заблуждений!
Как часто новый жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь в надежде торопливой,
Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь.

Сам он уже не чувствовал себя больше беспечным юношей и наставлял Льва, как человек, умудренный жизнью. Он хотел дружбы

брата и боялся, что родители, оберегая младшего сына от «пагубного» влияния старшего, посеют рознь между ними. Встревоженный этим, он обращался за помощью к Дельвигу: «Друг мой, есть у меня до тебя просьба — узнай, напиши мне, что делается с братом — ты его любишь, потому что меня любишь, он человек умный во всем смысле слова — и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим... Люби его, я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, — в этом найдут выгоду. — Но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови».

Брат был единственным в семье, у кого Пушкин искал сочувствия, кому поверял свои обиды.

А обиды множились. Сергея Львовича мало заботило, что старший сын на чужбине почти без средств к существованию.

И Пушкин просит брата пристыдить и усовестить отца. «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые правила — но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно. — Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных... Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург — когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 коп. (которых верно б ни ты, ни я не пожалели для слуги)».

Хотя на Невском проспекте в лавке Слёнина уже продавалась его первая поэма, Пушкин нуждался. «Что мой Руслан? — спрашивал он брата, — не продается? не запретила ли его цензура? дай знать... Если же Слёнин купил его, то где же деньги? а мне в них нужда».

Поэма вышла в Петербурге вскоре после отъезда Пушкина. Он не сразу узнал об этом.

И когда маленькая книжечка очутилась в его руках, не мог на нее наглядеться. «Платье, сшитое, по заказу вашему, на Руслана и Людмилу, прекрасно, — писал он Гнедичу, — и вот уже четыре дня как печатные стихи, виньета и переплет детски утешают меня».

Ему все нравилось, и он просил Гнедича поблагодарить Алексея Николаевича Оленина, нарисовавшего эскиз «виньеты» — картинки к «Руслану и Людмиле».

Пушкину было приятно знать, что его помнят в гостеприимном



Первое издание поэмы «Руслан и Людмила». Титульный лист и фронтиспис.
Гравюра М. Иванова по рисунку И. Иванова. 1820 г.

доме на Фонтанке. Ведь и «оленинец» Крылов вступился за него в эпиграмме. Крылов напечатал четверостишие:

> Напрасно говорят, что критика легка.
> Я критику читал Руслана и Людмилы.
> Хоть у меня довольно силы,
> Но для меня она ужасно как тяжка!

Пушкин рассчитывал, что вслед за «Русланом и Людмилой» выйдут и его «Стихотворения». Но Никита Всеволожский зашевелился лишь через два с половиной года и передоверил издание Якову Толстому, председателю «Зеленой лампы». На письмо Толстого Пушкин отвечал: «Милый Яков Николаевич, приступаю тотчас к делу... Я хотел сперва печатать мелкие свои сочинения по подписке, и было

роздано уже около 30 билетов — обстоятельства принудили продать свою рукопись Никите Всеволожскому, а самому отступиться от издания — разумеется, что за розданные билеты должен я заплатить, и это первое условие. Во-вторых, признаюсь тебе, что в числе моих стихотворений иные должны быть выключены, многие переправлены, для всех должен быть сделан новый порядок, и потому мне необходимо нужно пересмотреть свою рукопись; третье: в последние три года я написал много нового... Итак, милый друг, подождем еще два, три месяца — как знать, — может быть, к новому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад».

В этом же письме Пушкин вспомнил «Зеленую лампу»:

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды [1] и стихов?..
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнаньи скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас...

Пушкин спрашивает Якова Толстого: «...что Сосницкие? что Хмельницкий? что Катенин? что Шаховской?.. что Семеновы?.. что весь Театр?»

Петербургский театр... Пушкин жадно ловил каждое известие о нем, о знакомых актерах, о новых спектаклях. И когда узнал, что Семенова оставила сцену, не хотел верить этому.

Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас?
Не верю! вновь она восстанет.
Ей вновь готова дань сердец,
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец.

Пушкина огорчала его ссора с Сашенькой Колосовой. Поразмыслив, он решил, что зря поверил наговорам и обидел юную актри-

---

[1] Киприда — то же, что Венера, — в античной мифологии богиня любви.

су. В письме Катенину он послал стихи, надеясь, что они дойдут до Колосовой:

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Моиной[1].
Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.

В петербургском Большом театре тоже помнили его. Когда вышел «Кавказский пленник», неутомимый Дидло поставил по поэме Пушкина большой «национально-пантомимный балет» — «Кавказский пленник, или Тень невесты». Музыку написал капельмейстер Большого театра Кавос, Черкешенку танцевала прославленная Истомина. «Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой», — просил Пушкин брата.

Он скучал по театру и мечтал о нем. Говорил об этом прозой и стихами. «Мне брюхом хочется театра», — писал он Гнедичу. А в первой главе «Онегина» восклицал:

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

Он все сильней и сильней тосковал по Петербургу. «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, — писал Пушкин старшему Турге-

---

[1] Селимена и Моина — роли Колосовой в комедии Мольера «Мизантроп» и трагедии Озерова «Фингал».

неву, — как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух, да еще без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишиневе».

Третий год он сидел в Кишиневе, этой сонной дыре, страстно мечтая вырваться. Он писал друзьям, но они молчали. Время было неподходящее, чтобы просить за него. Тогда он сам решил «карабкаться» — и писал Нессельроде:

«Граф,

Будучи причислен по повелению его величества к его превосходительству бессарабскому генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда меня призывают дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца.

Имею честь быть с глубочайшим почтением и величайшим уважением, граф, вашего сиятельства всенижайший и всепокорнейший слуга Александр Пушкин.

13 января 1823 года. Кишинев».

Он рвался из Кишинева, но его не отпускали. «Ты знаешь, — рассказывал он в письме к брату, — что я дважды просил... о своем отпуске... и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости». Но и на «такого-то» в Зимнем дворце, то есть на царя, не приходилось рассчитывать. Пушкин остался прежним и гордился этим.

Все тот же я — как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию — в слепой надежде —
Молебнов лести не пою.

Он не только не льстил Октавию — царю, но по-прежнему писал на него эпиграммы:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Аустерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Пушкин не собирался купить себе свободу ценою унижения и лести. И все же он верил, что наступит день, когда он вернется к друзьям на брега Невы. Вернется непобежденным.

По следам поэта

Есть люди — Пушкин принадлежит к их числу, — следы которых не властно стереть даже время. Такие люди вечно живут там, где жили некогда. Их шаги не умолкают, их голоса звучат. Они становятся частью своей страны, своего города. Ведь города не только здания. Города — это люди. Кудрявый юноша, который после Лицея приехал в Петербург, продолжает жить в Ленинграде. И каменная летопись улиц хранит его следы.

Тот, кто захочет за Крюковым каналом отыскать захолустную Коломну, потерпит неудачу. Коломны давно уже нет. Она слилась с центром города. Забыты и деревянные домишки, и дощатые заборы, и плохо мощенные улицы. Старая Коломна исчезла. И только по-прежнему неспешно течет здесь в гранитных берегах неширокая темная Фонтанка, по-прежнему раскачивает ветер тяжелые цепи на старинном Калинкином мосту, и нет-нет да и встретятся среди более новых зданий дома-старожилы, видевшие Пушкина.

Дом Клокачева на Фонтанке, который целых три года служил жилищем Пушкину, изменился до неузнаваемости. Он расширен и надстроен. Но центральная часть его — старая. Где-то здесь, во втором этаже, окна квартиры Пушкиных...

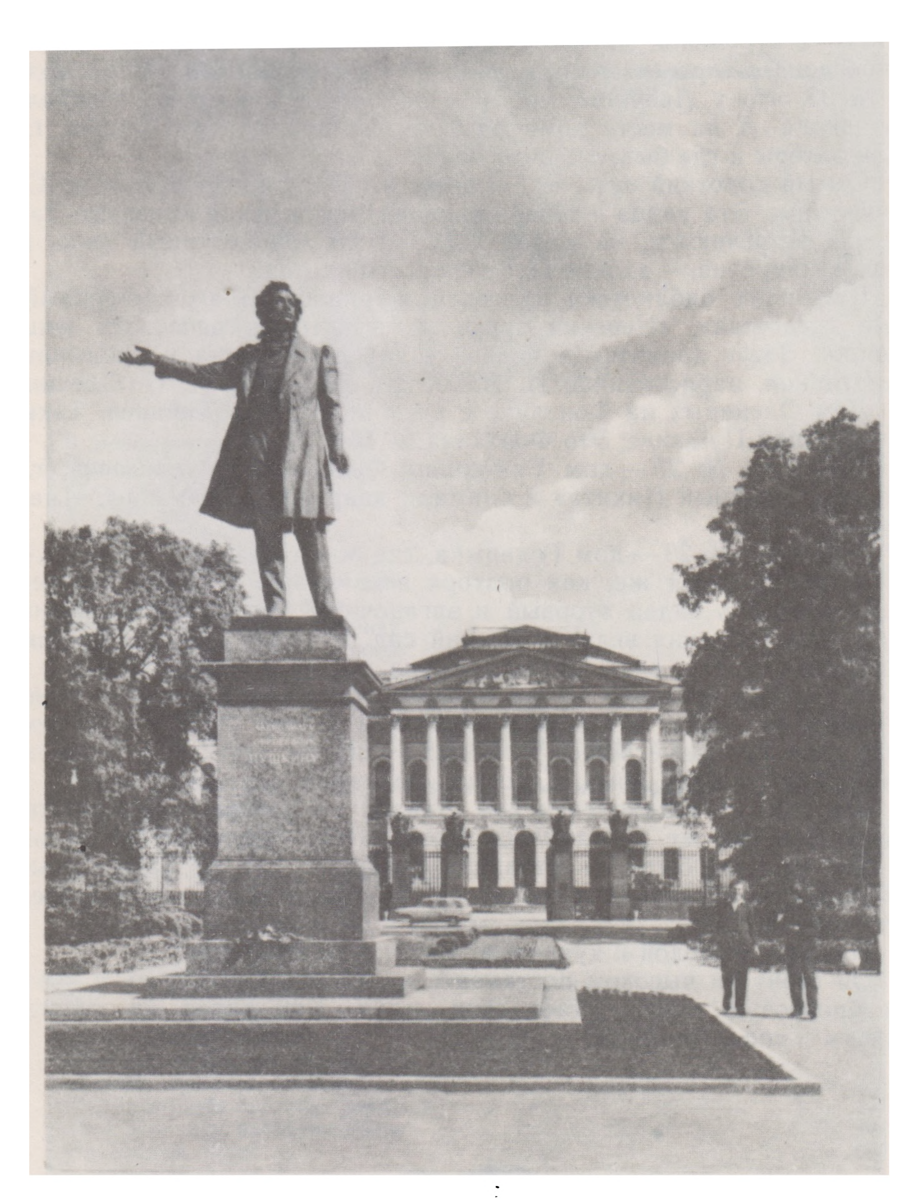
Недалеко от дома Клокачева подходит к Фонтанке проспект Римского-Корсакова. Во времена Пушкина он назывался Екатерингофским. Здесь, в доме на углу Никольской улицы (ныне улица М. И. Глинки), жил Никита Всеволожский, собиралась «Зеленая лампа».

Дом «Зеленой лампы» прекрасно сохранился. Он точно такой, как в те далекие годы, — массивный, трехэтажный, строгой архитектуры. На стене — мемориальная доска с надписью: «В этом доме бывал в 1819—1820 гг. А. С. Пушкин на собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа».

От дома «Зеленой лампы» рукой подать до Театральной площади. Площадь и теперь носит старое название. Но на месте Большого каменного театра стоит Ленинградская консерватория. Напротив нее — Театр оперы и балета имени С. М. Кирова.

Сколько раз по этой площади проходил юный Пушкин, торопясь в «волшебный край...» Сколько раз спешил он отсюда во Вторую Подьяческую...

Неширокая улица вблизи площади Мира — бывшей Сенной площади — по-старинному называется Малой Подьяческой. И по-прежнему стоит здесь небольшой трехэтажный дом, теперь № 12, где был «чердак» Шаховского.



Памятник Пушкину на площади Искусств.
Скульптор М. К. Аникушин. Фотография.

От Театральной площади несколько минут ходьбы до канала Грибоедова. Старое название канала — Екатерининский. Здесь, в доме № 93, что у Львиного мостика, помещалась когда-то Театральная школа. А на месте дома № 97 стоял дом купца Голидея, где жили актеры и где бывал у них Пушкин.

Самый короткий путь из Коломны в центр города лежал по Садовой улице. Эта улица и теперь приводит на Невский проспект. Там, где они встречаются, на одном углу — Большой Гостиный двор, на другом, напротив, — здание Публичной библиотеки.

В фондах библиотеки хранятся журналы «Благонамеренный», «Сын отечества», «Невский зритель», в которых печатался юный Пушкин. Здесь хранится и первое издание «Руслана и Людмилы» с картинкой, нарисованной И. Ивановым по эскизу А. Н. Оленина.

Дом Олениных на Фонтанке с виду никак не изменился. Таким был он и при Пушкине. Это Фонтанка № 101.

Фонтанка № 25 — дом Екатерины Федоровны Муравьевой, где жил «беспокойный Никита» и снимали квартиру Карамзины, — надстроен.

Фонтанка № 20 — дом Голицына, где жили братья Тургеневы, — сейчас почти такой же, как полтора века назад. Из окон третьего этажа и теперь виден суровый и загадочный Михайловский замок.

Следы Пушкина ведут в Летний сад. Вековые липы, старинные мраморные статуи, знаменитая решетка... Они помнят поэта.

Через сад проходил он на набережную Невы и подолгу стоял, опершись на гранит и любуясь величавой рекою. Она по-прежнему катит свои холодные волны в одетых гранитом берегах, и по-прежнему глядятся в нее дома и дворцы, свидетели молодости поэта.

Все так же великолепен дом Лаваля на набережной Красного Флота. Все так же протянулось вдоль Невы двухэтажное здание с колоннами, где была Иностранная коллегия. Так же рвется ввысь Петропавловский шпиль и скачет на гранитной скале могучий Медный всадник...

Пушкин, молодой и кудрявый, живет в Ленинграде.

Он стоит на высоком постаменте на площади Искусств и, откинув бронзовую руку, читает свои стихи. Как читал их некогда друзьям и сподвижникам.





Оглавление

ДЛЯ СРЕДНЕГО
И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Басина Марианна Яковлевна

НА БРЕГАХ НЕВЫ

Ответственный редактор
С. М. Туркова.
Художественный редактор
Б. Г. Смирнов.
Технический редактор
З. П. Коренюк.
Корректоры
К. Д. Немковская и
В. Г. Шишкина.

Сдано в набор 12/VIII 1975 г. Подписано к печати 29/XII 1975 г. Формат 70×90[1]/16. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 16. Усл.-печ. л. 18,72. Уч.-изд. л. 14,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 101. Цена 1 р. 62 к. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

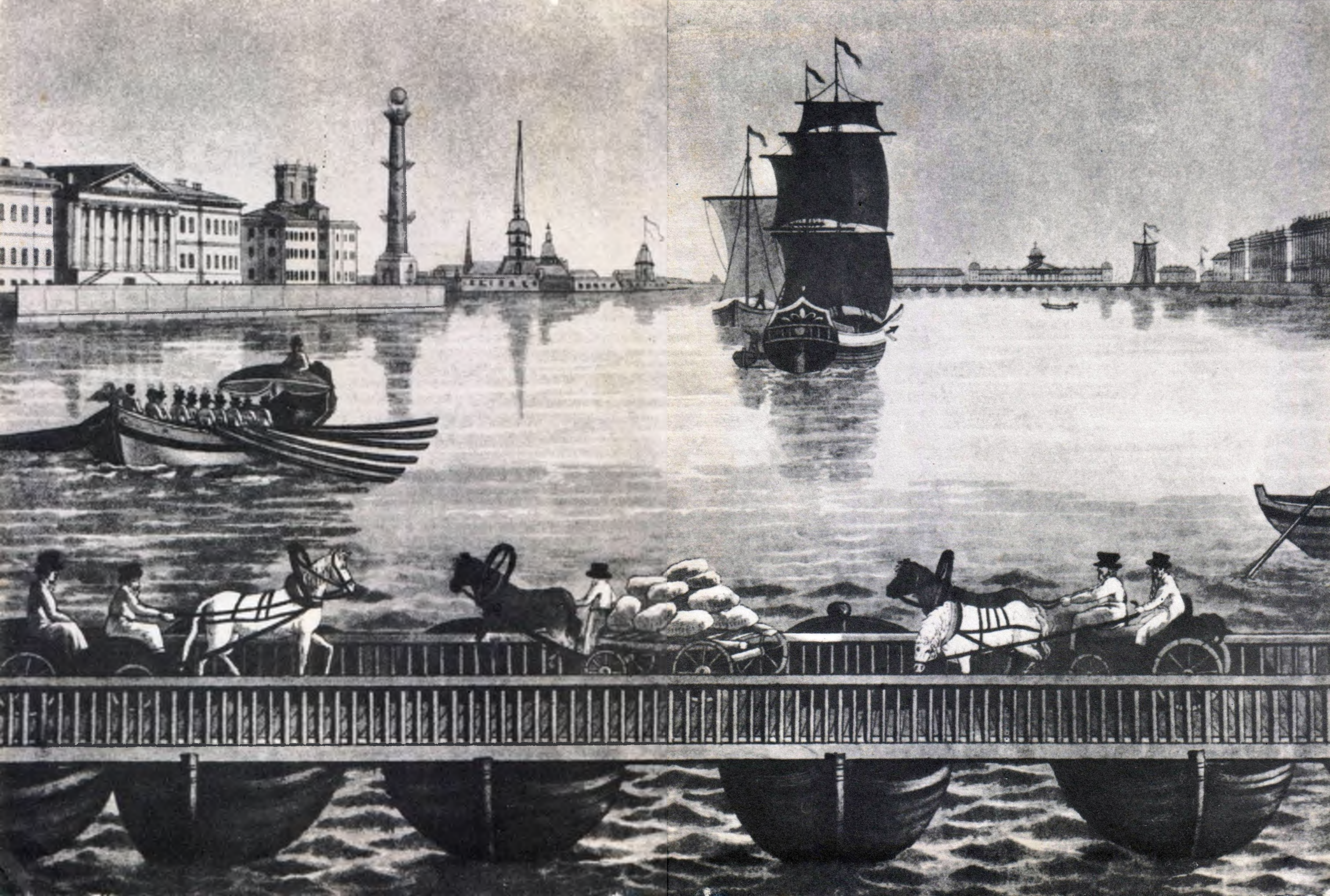
Басина М. Я.

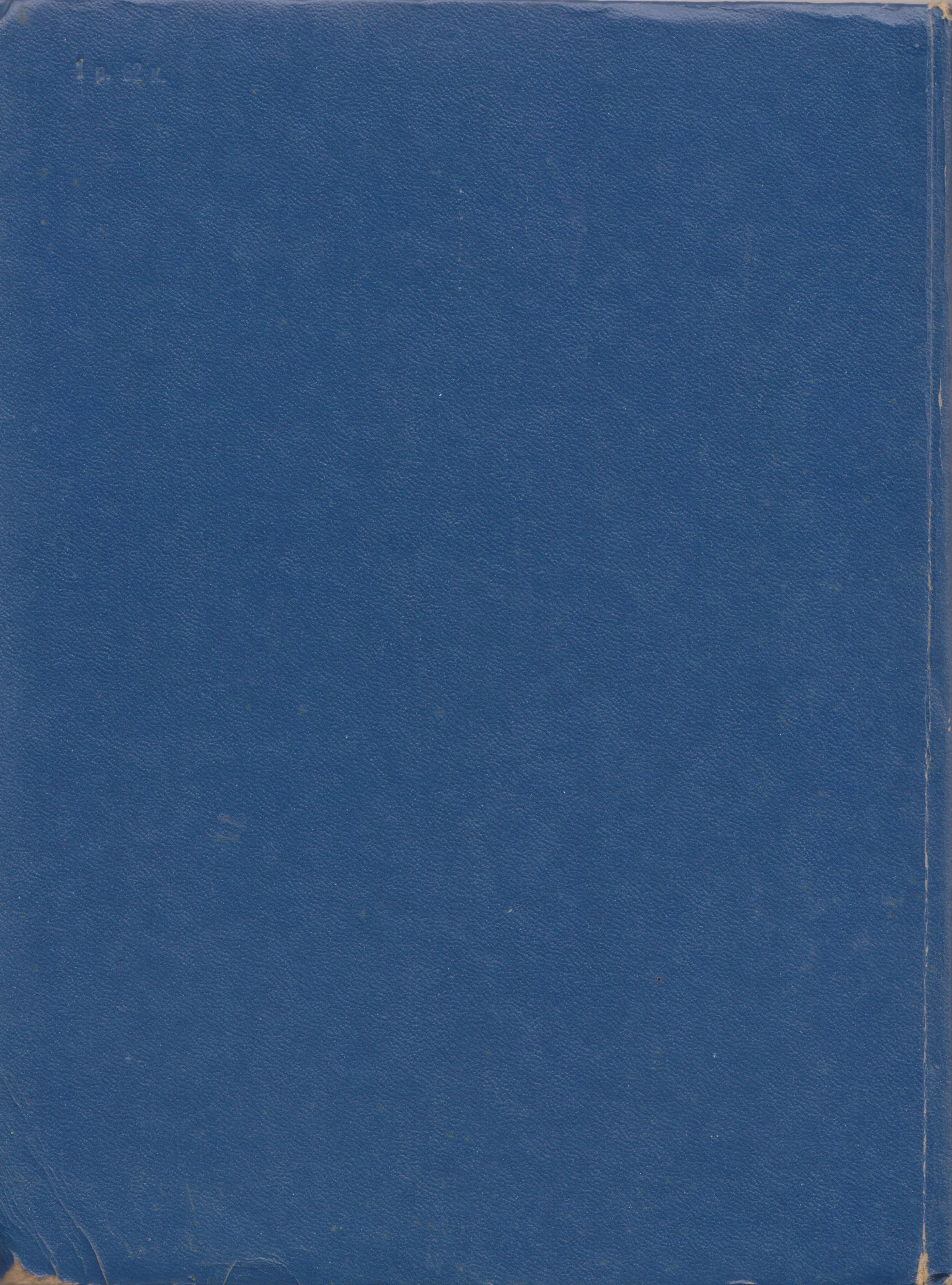
8Р1(092) На брегах Невы. Документальная повесть. Оформление Г. Губанова, фотографии Г. Савина. Издание 2-е. Л., «Дет. лит.», 1976.

255 с. с ил. (По дорогим местам)

Документальная повесть о жизни и творчестве А. С. Пушкина в Петербурге после окончания Лицея (1817—1820 гг.).

Б 27




1 р. 62 к.